Татьяна ХАРИТОНОВА

МУЗЕЙЩИЦА

Главы из романа «Свет Евфросиньи»[1]

(Журнальный вариант)

Пролог

До отправления поезда оставались считанные минуты. Вагон полупустой, немногочисленные пассажиры расселись по своим купе. Уже два года Ефросинья жила на два города: Смоленск — Петербург.

Её университетский диплом исторического факультета стал ступенькой к новой профессии, которая захватила её полностью. Отделение музееведения в Петербурге, диссертация на тему «Музеи в годы Великой Отечественной войны». Она и сама не ожидала, что настолько интересной станет для неё эта тема. Мама мечтала, что она останется в университете, будет писать научную работу, читать лекции студентам, а она попала на практику в музей, и музей не отпустил её, как некий ценный экспонат, представляющий весьма странную современную девушку, любящую читать книги, смотреть старые фильмы, рассматривать картины, но не с экрана компьютера с аудиогидом в ушах, а наяву, непосредственно в музейном зале. Все выходные в Петербурге Ефросинья проводила в Эрмитаже. Подружка Вероника сердилась:

— Выходные даны для отдыха и развлечений, а ты каждую свободную минутку бежишь в музей. Вообще-то тебе замуж пора, подруга. А для этого нужно бывать среди потенциальных женихов. А у тебя только картины, скульптуры, старушки с внуками и китайцы. Так и высохнешь и превратишься в музейную мышку с пучком волос на затылке.

— Это штамп. Музей — это целый мир, где живут историки, реставраторы, экскурсоводы, искусствоведы. И, кстати, посещают музей весьма интересные люди, проводящие время не только в тик-токе, но и в реальном мире.

— Да где уж мне, простому бухгалтеру, понять этот мир высокого искусства.

— Не ёрничай, Вероничка, лучше пошли со мной. У меня сегодня зачётные экскурсии. Я расскажу тебе про Сандро Боттичелли.

— Нет, я на корпоратив. Сегодня у шефа день варенья. Кстати, у нас полно ребят, не отягощённых семейными узами. Есть и Сандро, есть и Петруччио. Не Боттичелли, конечно, Ивановы, Петровы, Сидоровы, но классные ребята. За город едем, отель сняли, аквапарк рядом, квест интересный в лесу.

— Заманчиво, но нет. Никак. Без этого зачёта не допустят к сессии. А вечером домой, я на ночной поезд билет взяла.

— Когда вернёшься?

— Пока не планирую. Буду дома работать.

День был суматошным. Провела две экскурсии по залам музея, одну из них — для аспирантов из Воронежа. Эти дотошные, засыпали вопросами. Хорошо, материал

[1] Предложенный автором отрывок из романа публикуется в «Невском проспекте» как отдельное, целостное произведение.

Фрося знала досконально — её любимая Древняя Русь, фрески 12 века. Дописала статью в научный журнал. Для диссертации этого мало, ничего не успевала. Совсем как Золушка перед балом, только доброй Феи крёстной нет, бал не предвидится, и принц, как в том анекдоте, приедет к ней лет через тридцать на велосипеде и привезёт пенсию.

Работа над диссертацией открыла для неё имя удивительной женщины — Евфросиньи Буркиной, которая во время войны спасла коллекцию смоленского музея. И то, что святая преподобная Евфросинья Полоцкая — их общая святая, их молитвенница, Фрося чувствовала сердцем, иначе как могла эта хрупкая женщина вынести на своих плечах эту тяжкую ношу — войну, эвакуацию, сохранение огромных ценностей? Много совпало в их жизни: имя, профессия, город, любовь к музею, истории. Сухих данных диссертации было так мало, чтобы выразить её радость и восхищение этой женщиной, что в свободную минутку она открывала ноутбук и писала.

Иногда ловила себя на мысли: Фрося, о чём ты? Писать о чужой жизни, зная только общие факты, сухие, лаконичные? Ну да, у тебя есть несколько страничек из её дневника, воспоминания людей, которые знали Ефросинью Васильевну. Но этого так мало. И случилось невероятное. Фрося стала писать о жизни этой женщины, словно сама жила с ней рядом, словно сама проживала эти минуты. Это было удивительное погружение. Она иногда переселялась в другое время, рассматривала его особенности, предметы, окружавшие людей, мебель, посуду, слушала их разговоры. Это была загадка, на которую она не знала ответа. Эта вторая жизнь — таинственная, наполненная событиями, была для неё радостной отдушиной, новой территорией, новым местом, куда ей хотелось постоянно возвращаться. Закрыла глаза. Тихий голос новой книги отодвинул июнь двадцать пятого и открыл старый, пожелтевший от времени перекидной календарь.

Глава 1. БАБКА АГАТА

Девочка появилась на свет длинной зимней ночью. Это был тусклый свет керосиновой лампы. Тогда над маленькой деревенькой Клёны бушевала метель, да такая, что и собаки не лаяли, а может, и лаяли, да их никто не слышал. Впрочем, метель бушевала над всей Россией. На дворе стоял тревожный и голодный 1906 год. Деревня оплакала погибшего на русско-японской войне Кузьму Федосеенкова и готовилась к худшему. Хаты, крытые соломой, стонали на холодном ветру. Снег сыпал и сыпал, и выглядывали они из сугробов, подслеповато щурились на холодное зимнее солнце тусклыми керосиновыми лампами. Хату выстуживало так, что печь приходилось топить два раза на дню — утром и вечером, хорошо, Василь дров заготовил с запасом. Дети, как скворчата на ветке, сидели на печке на старом дедовом кожухе, чтобы не обжечься, забавлялись сказками, пужали друг дружку. Да и пужать было без надобности. Весна будет голодная, жито почти доели. Хорошо, картошка пока выручала, да капусты по осени наквасили две бочки большие, грибов насушили, с голоду не пухли. Прыгали с печки, бежали на двор, теряли старые растоптанные лапти в снегу, возвращались с красными, как у гуся, лапами-ногами под бабушкино ворчание: «Иди-ка, ищи-свищи теперя эти лапти, неслухи». А они хохотали, толкались и передразнивали бабушку: «Ишшы-свишшы, ишшы-свишшы»...

Бабка Агата поправила лампадку. Когда шла молитва и ум не рассеивался на житейское, пламя освещало лики на иконах, еле заметно, словно от дыхания, покачивалось: «Господи, прости нас, распинающих тебя...» Слезы катились из глаз горошинками, казалось, падают на половицы и постукивают — тук-тук, тук-тук.

Тук, тук — стучал топориком Василий во дворе, чинил загородку. Просила его всё утро: «Страстная неделя, сынок, иль дней у тебя нет?» А он, словно не слышал, сначала просто доску прибил, а потом и посыпалось — тук да тук, загородка, понятно, старая, на ладан дышит. Да не по загородке стучит, с утра с Варварой лаялись, он слово — она пять в ответ. Мир никак не берёт. Ей бы послухать Василя, да приладиться, да с хитринкой да лаской поворачивать его, мужик то лаской, как теля, пойдёт, а Варвара, как енерал, всё команды сыпет. Сесть бы ладком да договориться — нет, не чують друг дружку никак. Только и умеют, что ночью договариваться, детей настругали, а всё делят углы в хате. Оттого и беды, как из мешка — то корова падёт, то лошадь волки задерут. Детей, как горошин в стручке, кормить чем? Обувки да одежонки где набраться на них на всех? А тут Агате подсказали, что в Полоцке святая есть, никого не оставляет без окормления — миротворица. Агата в Полоцк и пошла пешком мира в хату просить. Отправилась в конце мая, как отсеялись, чтобы дойти к празднику, к июню. Заказала молебен матушке Полоцкой, Евфросинье. Людей видимо-невидимо. Молятся, плачут каждый о своём. Баба на постой её пустила, бросила в угол мешок с сеном. Агата ноги вытянула: «В первый то раз на мягком почивать буду, как царица». Та баба вдруг, как

родная, молока да пирога кусок. Дарьюшка.

— Ешь, поди, намаялась. Таких богомольцев в Полоцк к лету тянется. Всем Евфросиньюшка помогает. Ты с чем пришла, с какой такой бедой?

— Дети без толка, внучат полон дом, а у них ветер в голове. Каждый своё талдычит — одному чай холодный, другой горячий. Ей всё не так, ему всё не эдак. Я верчусь между ними, как уж на сковородке, да толку нет. Сын Василь в сердцах — шапку на голову да с хаты. Дети плачуть, а ей, Варваре, всё нипочём, гнёть свою линию — всё не так он робить. А что не так? Справный, работящий, пить — не пьёт, так, коли-николи пропустит чарку. Не запивается. Он у меня ласковый, привык, чтоб тихо в хате было, а как ентот енерал пришёл, всё кувырком. Поначалу девка-то справная была, работа в руках кипит, хата блестит, печь побелена, не нарадоваться. И Василь-то с неё пылинки сдувал — «Варка моя». А Варка-то и окрыяла[1] — давай порядки свои устанавливать. Доустанавливалась. Два мужика у хате. Только что один брюхатый, вот и разница. Носит Варвара моя дитёнка под сердцем, девятый ребятёнок будет у нас. Боюсь, каб не скинула ненароком.

— Молодо — зелено. Ума-то, поди, наберутся. Это у нас его палата, да нужен кому? Кто слухать нас будет?

— Вот-вот. Ума наберутся, да как бы поздно не было...

Дарья поправила фитилёк в лампе, присела рядышком на лавицу.

— Мы Евфросинью свою почитаем, только беда, не допросимся у царя-батюшки, чтобы вернулась она в Полоцк.

— Как так, чтобы вернулась?

— Да ушла она из Полоцка ещё при жизни, в Ерусалим ушла, на Святую землю ко Гробу Господню. Там захворала и почила. Мощи её оттудова перенесли в Киев, в Лавру. Там и покоится в пещерах. Не отдают нам матушку нашу, — смахнула слезу.

— Так просите, стучите.

— Так и стучимся, какое уже прошение по счёту государю отправили. Наши-то ходят в Киев, мне не добраться, ноги уже не те. Дождусь ли?

Глава 2. ИКОНА

Икону из Полоцка Агата принесла красоты неписаной.

— Заступница наша, скоропослушница. Поднимется хозяйство, только в воскресенье робить не будешь, Василь, то день, который Богу нужно отдавать.

Перекрестилась, села на лавку, достала икону, протянула невестке.

— Кто это, матушка?

— Евфросинья Полоцкая.

— К мощам приложила?

— Приложила, частичка там. А сама она в Киеве, в Лавре мощи, туда не дойти мне.

— А икона поможет?

— Что ты, Варвара, заладила. По вере твоей да по молитве матушка откликнется да по смирению.

Агата поднялась с колен, Фрося завозилась в люльке. Подошла к внучке, качнула, люлька отозвалась, поскрипывая липовыми полозками.

— Ой, люли-люли, детки все поснули. Спи, Фросюшка, спи, мой цветочек лазоревый.

Подошла к печи, достала ухватом горшок со щами. Щи упарились, пахли капустой да сухими грибами. Сама Агата с утра крошки во рту не держала, постилась, а домашним приготовила щи. Василь крепок был, в трудах с утра до позднего вечера, да и Варвара под стать ему, не присаживалась за день попусту, разве поснедать на минутку. Детишки подрощенные, да Евфросинья зимница, как её называли. Девятый ребятёнок в семье. Родилась в декабре, аккурат перед Рождеством. Холод стоял, воробьи на лету замерзали. Бабка-повитуха не добралась из соседнего села Воскресенского до их Кожанова. Хорошо, Варвара — баба крепкая, не впервой рожать ей, справились сами. Агата Фросю и приняла. Только Фрося слабенькая была, как котёнок, засунули в валенок да на печку. Чудно, из валенка головёнка торчит, агукает.

И хозяйство подняли, и дочку дождались. Хотели назвать Василисой иль Верой, а Агата настояла: у Евфросиньи выпросили, значит, быть ей Евфросиньей.

— Ну, Евфросинья, Фрося, Фронюшка. Нехай буде, — Василий глянул на дочку. — Диковинка, глаза синие, таращится на тятьку. Хлопцы-то все, как грибы в лесу, кареглазые, светловолосые да крепенькие, а эта синеглазая, а волосёнки, как кора на сосне, тёмные да курчавятся завитками. Сделал пальцами козу, протянул, а она ухватилась в кулачок да в рот, зачмокала.

[1] Окрыяла – окрылилась, почувствовала себя хозяйкой *(бел.)*.

— Ты что это грязный палец дитяти суешь? — Варвара встрепенулась.

— Сама хваткая какая, были б зубы — откусила, тятьку без пальца оставила. Ишь ты! Вся в мамку, ещё один енерал. Девка героическая будет.

— Да не дай Бог, хватит героев среди мужиков.

— Говорю тебе — героическая девка, палец в рот не клади.

Палец выдернул, а Фрося в плач — голодная.

— Иди ко мне, моя лялечка, покормит мама.

Зачмокала Фрося, притихла, а у Варвары — счастье на лице, дождалась радость Евфросинью.

Глава 3. МИТРИЧ

Среди ребятишек, восьми её братиков и сестричек старших, Фрося и впрямь больше всех тянулась к грамоте. Попадалась ей газетёнка какая — распрямляла на коленочках и складывала буковки, читать училась. Так и освоила грамоту сама. Пришлось отдать её в школу. Одну. Обувки да одёжки на всех не хватало, Фросе справили пальтецо из обдергушки Агатиной, да валенки свалял ей дед Митрич по спецзаказу — Фроське в школу. Митрич Фросю любил, читала она ему газеты по вечерам, так как глаза его слезились и в свете керосиновой лампы не различали ни мухи, ни комара, но буквам её выучил исправно.

— Учись, Фрося, грамота будет тебе кусок хлеба приносить.

— Да как, дедушка? Хлеб грамотой не вырастишь. В поле робить нужно, с весны до осени. Как мамка с тятькой.

— То мамка с тятькой, а ты девка другого полёта, вон глазищи какие. Всё тебе интересно, всё ведать хочешь, газету как справно читаешь, да и розумеешь всё.

— Деду, а ты что сам не читаешь?

— Копошится всё в глазах. Поздно мне, глаза отслужили. Столько видели — и не упомнить.

— А что видели, деду?

— Много чего. И горе, и радость. С буковками-то проще. И ходить не надо, чтобы увидеть. Ну-ка, почитай мне, что там пишуть? — Митрич, покряхтывая, поднялся с лавицы, взял со стола газету. — Читай, сверху читай.

— Так тут не сначала, про колокол какой-то.

— Читай, что есть.

— *«Колокол, отлитый в 1778 году из захваченных пушек, предназначался сначала для Таганрога. Однако уже в 1803 году он украсил руины Херсонеса в Севастополе»...* Где этот Севастополь, дедушка?

— Так в Крыму. Море там, красота.

— Ты был?

— Не довелось. Дед мой в Крымской участвовал. Пришёл без ноги, пораненный весь. Я тогда совсем мальчонкой был, как ты. Он матросом состоял у адмирала Нахимова. Славный был вояка этот адмирал. Матросов уважал, говорил, что матрос — главный двигатель на корабле. В любой битве не ховался за спины, стоял на мостике. Тогда, в пятьдесят третьем, у мыса Синоп турков разбили начисто. Ни одного корабля нашего не потеряли.

— Ты помнишь, как дед рассказывал?

— Как не помнить? Дедовы рассказы помню. У детей память цепкая. А дед там побывал, не забудешь. Турки на своих кораблях переправляли оружие горцам на Кавказ. Против нас укрепляли. Этого допустить было никак нельзя. Хотя государь и просил не ввязываться в бой с турками, Павел Степаныч Нахимов решил вступить в сражение. Там смелость и сыграла главную роль. Турки никак наших не ждали, у них береговые батареи должны были не пускать чужие корабли. Только наши проскочили, двумя колонами развернулись бортами к туркам и за три часа расстреляли турецкие корабли, как зайцев. Выучка и храбрость. Осман-паша ихний попал в плен.

— Ты помнишь, как дед рассказывал?

— Как не помнить? Дедовы рассказы помню. У детей память цепкая. А дед там побывал, не забудешь. Турки на своих кораблях переправляли оружие горцам на Кавказ. Против нас укрепляли. Этого допустить было никак нельзя. Хотя государь и просил не ввязываться в бой с турками, Павел Степаныч Нахимов решил вступить в сражение. Там смелость и сыграла главную роль. Турки никак наших не ждали, у них береговые батареи должны были не пускать чужие корабли. Только наши проскочили, двумя колонами развернулись бортами к туркам и за три часа расстреляли турецкие корабли, как зайцев. Выучка и храбрость. Осман-паша ихний попал в плен.

— Всё хорошо закончилось, деду?

— Хорошо-то хорошо, Фросенька, на Кавказе притихли без поддержки, да Англия и Франция не могли допустить, что русский флот и Россия побеждает. Объявили нам войну. Эти — такие. Жди от них беды. Им Россия — что кость в горле. Французы — те дураки, прут в открытую, а вот Англия — хитрющая баба, сидит на своём острове да козни исподтишка строит. Было так всегда. Развязали они Крымскую войну. Павел Степаныч воевал героически, везде первый. Деду потом рассказывали, как он в белом мундире адмиральском в самый бой, в самое пекло в Севастополе, верхом объезжал бастионы. В тот день, когда смертельно ранили его, на стене бастиона выпрямился во весь рост с подзорной трубой. Как уж не уговаривали его спуститься, не слушал никого. Тут и погиб. Я после дедовых историй мечтал на флоте служить. А про

Нахимова много слышал потом. И то, что он последнюю рубаху мог снять, если у кого нужда. Семьёй своей так и не обзавёлся, потому как не имел времени, всю свою жизнь флоту Российскому отдал. Деда нашего после того морского сражения отправили с выходным пособием. Сам Нахимов навестил его в госпитале, вручил медаль и деньги. Да ещё протез. Мастера по его личному заказу сделали всем героям пораненным. Дед пристёгивал его и ходить приладился. Словно родная нога. Вот так, внуча. Запомни — адмирал Павел Нахимов. И прапрадед твой — матрос Российского флота, крейсера «Ростислав».

Митрич задумался, полвека прошло, а как вчера, дед в бескозырке — он её берёг и надевал по важным случаям — устроил ему разнос за то, что внук коня не напоил вовремя, а соврал, что лил воду в поилку.

— Дед тогда ответил: «Относись к любому делу, что робишь, по совести, а не тяп-ляп. Спросится с тебя». Помню его слова, как вчера это было. Я тогда и спросил: «Кто спросит, деду? Никто не увидит, если что». — «Эх ты, малый, а ловчить научился. Совесть твоя и спросит». — «Совесть? Подумаешь. Какой у неё спрос?» — «Простой. Слово-то обдумай. Со-весть. Про какую весть говорится?» — «Весть... У бабы Агаты все вести. Как к колодцу сходит, так и принесёт полный фартучок». — «Эх ты, чудило. У бабы Агаты твоей одни сплетни да слухи. А весть одна — о Христе. Он учил, как жить праведно. От Него не спрячешь. Кого хочешь обманешь, внучок, а Его нет...» Дед, как с войны пришёл, поднял хозяйство. Новый дом срубили, лошадь купили, ещё одну корову. Вот так, Фрося. И ты так жить старайся.

— А в войне этой мы не победили?

— Я ж тебе сказал уже, не победили. Да не по нраву наши победы Англии да Хранции. Спужались нашего флота и Нахимова не на шутку. Силы тогда были подорваны. Читай дальше, детка. Про колокол читай...

— *«Во время Крымской войны колокол был увезён союзниками в Париж и установлен в соборе Нотр-Дам»...*

— Хранцузы? Лягушатники? Вывезли, значицца.

Фрося оторвалась от газетной странички.

— Деду, а где эта Франция?

— Так недалеко, месяц пути, если пёхом да с отдыхом.

— А если на Сивке нашем?

— Ну, недели за две доберёмся на Сивке. Только Сивка до Парижу не пойдёт, ему наши лужки — дом родной. Это хранцузам не сидится, всё им мало. Землю им нашу заграбастать хочется. Один уже приходил, зад приморозил да назад, до городу Парижу.

— Почему так говоришь про французов? Только не хранцузы, «ф» там буквица.

— Да я б ещё по-другому сказал, да уста свои да уши твои поганить не буду. Наполеон ихний сколько горя посеял. Чего шёл к нам? Погнали до самой Хранции, да кровушки жаль нашей. Полили сколько. Читай далей, детка...

— *«В 1803 году, по указу императора Александра I, колокол был отправлен в Севастополь и предназначался для строящейся церкви Святого Николая. После Крымской войны 1853-1856 годов союзные войска Англии и Франции вывезли колокол из Севастополя в числе трофеев»...*

— Эх, супостаты, колокол им наш понадобился, подавились бы, — бабушка Агата возилась у печи, вечерю готовила и слушала одним ухом.

— Ты Варвара, у печи не бранись, а то картоха твоя нам поперёк горла встанет. Как бы нам не подавиться, — Митрич хмыкнул в усы.

— А ты, Митрич, отстань от Фроси, глаза слепит, при лампе-то читать каково? Снедать садитесь.

— Ты, Агата, только о пище телесной заботишься, а человеку надобно ещё и знания вкушать.

— Поглядела б я на твои знания, когда бы ты на голодный желудок их просил.

— Сытое брюхо, Агата, к учёбе глухо.

— Ты лучше, Фрося, прочти ещё раз про пароход Головачёв. И когда он в Оршу прибудет.

— А где та газета, бабушка?

— Митрич, достань, там за Божницей. Потом достань, а пока к столу. Потом, Фросенька, всем почитаешь, я управлюсь с делами и послухаю.

— Я, бабушка, ведь уже три раза читала.

— Ничего-ничего, ещё раз послухаю. Про Евфросинью-то такие новости. Я ведь когда в Полоцке была, ты тогда еще не родилась, хозяйка Дарьюшка-то как печалилась, что просят у царя-батюшки, чтобы подписал указ о возвращении. Уж и надежду потеряли. А тут радость какая. Государь наш Николай смилостивился, дал добро, — бабушка поставила на стол чугунок с картошкой, упаренной в печи, большую чугунную сковородку с яешней. —Митрич, хлеба отрежь по краюхе. Подала ему из

ларя каравай. — Последний, завтра хлеб буду ставить.

Вся малышня высыпала к столу, ели дружно, только ложки стучали о чугунок да сковородку.

— О, подчистили — бабушка улыбнулась, — и мыть не нужно. Вот бы работали так дружно, как едите. Батьке и мамке хорошо оставила в печке. Что-то долго их нет, заработались в поле.

Хлопцы под столом устроили бузу, толкали друг дружку ногами. Получили за это от деда по лбу ложкой. Дед не разбирал, кто первый. Получали хлопцы частенько, ходили потом с шишками, но не усмиряло это их пыл.

Агата собрала посуду. Митрич достал газету, подкрутил фитилёк у лампы. Стало светлее.

— Ну, читай, Фрося, про Евфросинью.

— Откуда читать?

— Сначала и читай, — Фрося уже наизусть выучила эту статью, поэтому частила. — Не спеши, медленно, вразумительно.

— Ну её, эту Фроську, мы, баб, на улицу, — сорвались с лавки, как скворцы с загородки, умчались во двор. А Фрося развернула газету:

Глава 4. КРЕСТНЫЙ ХОД

— *«Свято-Евфросиниевские торжества в Киеве начались на второй день Святой Пасхи 19 апреля 1910 г. В этот день в Дальних пещерах в пещерном храме Благовещения Пресвятой Богородицы было совершено пасхальное всенощное бдение. Утром 20 апреля после божественной литургии во время молебна святые мощи преподобной Евфросинии были переложены из старого гроба в обновленную кипарисовую раку, вынесены из пещеры и установлены в храме на особом возвышении. Скопление верующих было настолько многочисленно, что только в Лавре их насчитали более 20 тысяч...»*

— Двадцать тысяч? Это ж тьма народу. Это ж вся наша Сычёвка в одном месте.

— Цыц, бабка, не мешай слухать...

— *«22 апреля стал центром киевских торжеств. Святая Киево-Печерская Лавра прощалась с великой Полоцкой игуменьей. По словам очевидцев, склоны городских холмов, балконы и кровли домов, улицы и сады были заполнены народом...»*

— Вот бы побывать, — бабушка вздохнула. — Когда ж в Орше будет пароход? Вот бы побывать.

— Самая весна, лошадь гонять в такую даль, — Митрич закрутил самокрутку, крякнул в усы.

— Ну, так пешком пойдём. Пойдём, Фрося?

— Пойдём, бабушка, — Фрося оторвалась от газеты.

— Далеко ль дойдёте, старая да малая? Ладно, посмотрим. Людей-то будет — не протолкнуться. Затопчут вас там.

До Орши бабушка Агата и Фрося так и не добрались, бабушка захворала, да и Василь в такую даль не собирался. Самый сев. Хорошо, приехал в отпуск Игнат Сурков, он матросом служил на пароходе «Александровск».

Игната приняли как дорогого гостя, за стол усадили, поставили нехитрое угощение. Агата пирогов напекла с капустой, с картошкой. Игнат неразговорчив по жизни, а тут словно развязало его, тем более у стола сидела вся большая семья, а уж бабушка Агата подкладывала ему лучшие куски.

— Ну, расскажи, Игнатушка. Как ты там оказался?

— Так пароход «Головачёв» наши пароходы сопровождали — «Киев» и «Александровск». «Головачёв» — белый, как снег, на палубе — золотые хоругви на солнце блестят. Людей на берегу — видимо-невидимо. Приставали не везде, только в городах. Остановились в Любече — колокола звонят, люди поют, батюшки молебны служат. Такой праздник, словно Пасха ещё одна.

— Так Евфросинья — радость. Вот и Пасха.

— Так и люди с берега кричали — Христос воскресе! Все поджилки у нас тряслись. Не передать...

— А потом?

— Речица, Жлобин, Рогачёв. Да всего не упомнишь. Вот в Могилёве бабу принесли мужик её и старший сын. Она сама ходить не могла, ноги совсем слабые были. К берегу принесли её на руках, а назад уже сама, на своих ноженьках топала.

— Ой, Господи, — Агата утёрла завлажневшие глаза.

— Да может, подстава? — Митрич крякнул, недовольно покосился на Агату. Агата укоризненно покачала головой:

— Что мелешь, Фома неверующий?

— Да нет, Митрич, не похоже. Я сам не шибко верующий, а тут видел своими глазами, нас тоже на берег отпустили. Баба та рядом со мной была, я им помог потом. Боялся, чтобы толпа на радостях не задавила. Акулиной зовут, ноги у неё отказали, как упала она со стога, сено утаптывала наверху. Видно, спину-то и повредила. С прошлого лета лежала, а у самой дети, хозяйство. Уж и не верила, что встанет на ноги. Мужики её плакали, слёз не скрывали от радости, когда на ноги она встала.

— Игнат, только в городах останавливались? — Агата присела на лавицу.

— В городах да посёлках, если храм на берегу. Ночью как-то проплывали мимо деревушки — ни храма, ни священства, а всё в огоньках. Что за чудо? А то люди на берегу на коленях со свечами горящими. Пришли к берегу, чтобы увидеть, поклониться. Пение — словно на небесах. Такое где ещё увидишь?

— Ох, чудо какое!

— Чудес было много, ладно эти у деревушки собрались, а было и такое, что много вёрст к берегу топали, да крестным ходом, да на колени со свечами, только бы увидеть да водицы набрать. Водосвятный имолебен отслужить.

— Игнатушка, а водицы ты набрал? Из Днепра.

— Набрали наши, ты уж прости, Агата, пораздавал. Все просят. Не донёс. Люди пили водицу из Днепра, водица, словно стекло, прозрачная, небо звёздное, свечи, всё отражалось. Мы словно по небу плыли. Вот ещё расскажу про случай один. У села, название запамятовал, берег у Днепра высокий, крутой, «Головачёв» плыл у самого берега, глубоко там было, так мальчонка один с кручи сорвался, мы уж думали, разобьётся, а он съехал, как по перине, с кручи, у самого берега остановился, вскочил, бежит, руками машет, рад-радёшенек, а за ним народ, что рядом с ним был, словно с горы на санках, съехали, радуются, водой брызгают друг на дружку. Кто на колени упал — молится, кто по берегу идёт вровень с пароходом. Наш «Александровск» впереди шёл, я не многое видел.

— А в Орше, Игнатушка?

— В Орше мы пристали к берегу. Дальше хода нет. Встречали с архиерейским чином. Праздник был. Все люди вышли на берег...

— А как же потом?

— Из Орши раку несли на руках, до Полоцка окружным путём. По уездам. Чтобы как можно больше людей смогли поклониться. Везде молебны служили. Крестным ходом шли, несли на руках. Менялись, каждый хотел хоть чуть-чуть пронести, хоть пару шажочков. Мой напарник отпросился в Орше, пошёл до Полоцка, так ему такая радость, дали ему пронести рукавичку преподобной. Красная, шёлковая, на ней золотом крест вышит.

Замолчали, каждый думал о своём. Агата сожалела, что так и не довелось ей, старой, дойти до Орши. Вся жизнь у печи да стола. Митричу чудно было, что почти двести вёрст без малого несли люди такую тяжесть на руках, выходит — вовсе и не тяжесть, если каждый хотел, хоть несколько шажков. Выходит — радость. Что там бабка молвила, Евфросинья — радость? Так и есть.

А маленькая Фрося думала, что имя у неё чудесное — Евфросинья — и что святая жила так, что и спустя семьсот лет люди знают о ней и помощи просят. И как же надо жить, чтобы так случилось? И хватит ли ей, Фросе Буркиной, сил, чтобы имя это людям радость несло...

— Эх, Агата, и накормила меня, пироги у тебя знатные. Я же газету вам принёс. Читайте, тут про всё пропечатано. «Минские епархиальные ведомости» №10, 15 мая 1910 года.

Эту газету Евфросинья Васильевна, наша Фрося, хранила долгие годы. На местах сгиба тонкая бумага затёрлась, буковки потерялись, но помнила она эту статью почти наизусть, так как бабушке своей читала она частенько. Бабушки и Митрича давно нет, а то порадовались бы за неё. Она закончила школу, педагогический техникум и стала учительствовать.

Глава 5. МУЗЕУМ

Евфросинья Васильевна? Надо же. Она теперь никакая не Фрося, Евфросинья Васильевна! Надо соответствовать имени. И правда, была она хваткая, в школе вся жизнь вокруг неё кипела, кружок организовала, музей. А с музеем вот как неожиданно случилось.

Однажды мальчишки принесли ей странный предмет, по виду кость, только по краю был отчётливо заметен резной узор, забитый землёй.

— Где нашли?

— Так курган у нас за селом, там, если покопаться, много чего найти можно.

Евфросинья находку долго отмачивала в воде, потом аккуратно снимала

многовековой налёт, и в итоге — костяной гребень. Он удобно лёг в её ладонь, и на секунду она представила девушку, которая много веков назад расчёсывала свои волосы.

В школе гребень показала, рассказала, как жили древние их предки кривичи на этой земле, как занимались они земледелием, скотоводством и охотой, как искусно умели делать украшения из кости, металла, дерева и даже камня.

— Отсталые они, — крикнул с задней парты Федотка, — таким гребешком моя мамка в жизни б не чесалась.

Все засмеялись:

— Не чесалась — вилами или граблями бы чесалась, — продолжил Васька, за что получил кулаком под ребро.

Завязалась драка, но Евфросинья Васильевна быстро развела их по углам. Федотка обиженно засопел — мамку его знали, была она высокая да крепкая, словно мужик, да и коса в руку толщиной.

— Тихо, ребята, возможно, это детский гребешок, если разглядеть повнимательнее, зубья у него не очень длинные, да и узор по краешку. Тут — словно солнышко в углу, вот лучики в разные стороны.

— Покажите, покажите! — обрадовались. Рассмотрели ещё раз.

— И правда, солнце и лучики.

Федотка забыл про свою обиду, подскочил:

— А давайте собирать всякие такие находки. Будем изучать это, складывать, вот будет история интересная!

— Молодец, Федотка, будем собирать. Есть у нас в школе комната, там всякая рухлядь. Уберём и устроим наш школьный музей.

— Музей! Музей! — загорелись они музеем, столько интересного было вокруг. И началось. Евфросинья Васильевна завела большую толстую тетрадь и стала записывать находки.

Собирали по округе всякие старинные вещи — прялки, горшки глиняные, одежду старинную да обувку. Скоро комнатки стало мало.

Однажды после уроков в класс ворвалась бабка Федотиха.

— Васильевна, веди-ка меня в музеум свой!

— А что случилось, Акулина Архиповна?

— Сама увидишь. Веди.

Фрося открыла дверь, вошли в комнату. Бабка скользнула взором по стене, но ничего не обнаружила и стала внимательно осматривать большой стол с аккуратно сложенной одеждой, которую пока не разобрали и не развесили.

— Вот басурман, весь мой сундук перевернул, всё перерыл.

— Да что случилось?

— Да сарафан мой свадебный, что ещё от бабки достался, да рубаху утащил, пострелёнок, вот уж отхожу розгами по голой заднице. Ни-ни — в сундук лазить. Так залез всё-таки!

— Кто залез? — Евфросинья догадалась, что речь о внуке её, Ваське.

— Да Васька мой, атаман. Обокрал бабку среди бела дня, я пока на огороде ковырялась, он и залез в сундук. Я ещё и подумала, что тишина такая, мой Васька дома сидит, на улице хлопцы мяч гоняют, а Васьки моего не видать. Вон оно что. А он в это время-то сундук мой потрошил, басурманище.

— Да что вы, Акулина Архиповна, вы не сердитесь, сейчас всё посмотрим, вернём, если вещь для вас ценная. А Ваську не наказывайте, они мне всё тащат, что увидят старинное. Ну, меня поругайте.

— Да тебя, милая, за что? Он ведь в школу бежит, как на ярмарку за петушком сахарным, раньше-то, при бывшей учителке, не добудишься, не заставишь.

— Ну, вот и хорошо, — Евфросинья достала из вороха одежды белую льняную рубаху с красивой вышивкой. — Ваша?

— Моя, родимая, — бабка прижала рубаху к своей вылинявшей старой кацавейке. — Берегла ж её, думала, внучке передам, а у меня только Васька в избе, — вздохнула тяжко.

— Ну, всё равно забирайте, раз ваша.

— А тебе она зачем, милая?

— Так в коллекции будет. Синегорская старинная одежда. Люди будут смотреть, любоваться и радоваться — какие мастерицы-то у нас были.

— Это так. Бабка моя Анисья лён ростила, мяла, нитку пряла, ткала холст, на мартовском снегу выбеливала, рубаху шила да потом узоры-то вышивала. Глянь, как искусно. Таких больше не увидишь, она мастерица на весь уезд одна такая.

— Ну, вот видите, а вы такую красоту в сундуке прячете. Никто и не любуется и не знает про вашу бабку. Пройдёт много лет, люди уже забудут про это рукоделие, а ваша

рубаха будет всем напоминать, какие мастерицы жили и трудились.

— Эх, молодец ты, Васильевна. Молода, а умна, как прохфессор. Только будет ли так? Чтобы не своими руками одёжу мастерить? Столько веков на руках.

— Будет, гляньте, сколько ткани появилось, фабричной китайки, да разной полно. Из неё и шьют. Скоро такой лён ручной только в музее и останется.

— Ой, Васильевна, так и быть, хоть жалко мне, не скрою, пусть у тебя останется. Только ты подпиши, что это работа Анисьи Хлопенковой, бабки моей. Ещё сарафан должон быть. Васька ещё и сарафан уволок.

— Есть сарафан. Это целая история — эти сарафаны. Косоклинный — видите, клинья по бокам вшиты? Сразу видно — праздничный.

— Да, был ещё один праздничный, спорола справу, стал постный, хожий[1], а на энтот рука не поднялась. Я ж в нём невеста была, ох и хороша была, как молода. Мой Иван всё любовался, — бабка поднесла краешек фартука к глазам, утёрла набежавшую слезу.

— Да вы и сейчас красавица.

Засмеялась, махнула рукой:

— Ох уж ты, Васильевна, и мастерица на добрые слова. Оставляй сарафан-то, уговорила. И рубаху оставляй, куда мне, старухе, так и сгинет в сундуке, как помру, а так людям память останется.

Бабка ушла, а Евфросинья стала разглядывать сарафан. Был он тёмно-синим, с ложным запахом. По шву были нашиты блестящие пуговицы и петли. По подолу шли ярко-зелёные нашивки и плетёный шерстяной шнурок ярко-красного цвета. Тёмный сарафан красиво сочетался с белой рубахой. Была она домотканой, льняной. Такие рубахи были и у её бабушки, такую носила маленькая Фрося в детстве. Эта была праздничная, сшитая из целого куска холста, из трёх прямых полотнищ. Обычно повседневные рубахи шили из кусочков, причём верхняя часть — куски получше, потоньше, а нижние — погрубее, поплоше — всё равно не видать. Горловина у этой рубахи сильно сосборена, с узенькой обшивкой, а спереди по центру пуговка да петелька. Рукава тоже собраны красиво, по краю вышивка — загляденье.

Евфросинья Васильевна полюбила свой музей, каждый предмет держала в руках, любовалась, записывала в свою тетрадь. Ребятишки помогали ей, пополняли коллекцию. Историй с недовольными бабками было хоть отбавляй. Тащили старые утюги, которые еще нужны были в хозяйстве, прялки, горшки. Фрося возвращала всё безоговорочно, и на неё никто не обижался, только всё расспрашивали, зачем ей эти никчемные вещи. Приходилось объяснять, какую ценность они будут иметь через много-много лет.

Вскоре их музей прозвучал на весь уезд, а в газете при них напечатали маленькую заметку. А через месяц вызвали её в Сычёвку и предложили возглавить местный краеведческий музей. Это был гром среди ясного неба.

— Вижу, девица вы толковая да хваткая, а в Сычёвке конь не валялся. Там добра всякого много, да всё лежит без всякого порядка и учёта. Много ценного с имения Паниных-Мещерских: картины, посуда дорогая, даже рояль есть. Надо всё сберечь, пока окончательно не разворовали и не испортили.

— Да разве я справлюсь? Там учиться надо. Музейное дело не простое, столько знать всего нужно. Одно дело — горшки да сарафаны, другое — картины да предметы с барских усадеб. Я же в этом ничегошеньки не понимаю. Девка-то я деревенская, простая.

— Так и будешь учиться. Мы тебя в Ленинград отправим, в Эрмитаж. Там и научат.

Евфросинья потеряла дар речи.

— В Эрмитаж? Меня?

— Тебя-тебя. Ну что, берёшься?

— Берусь, — ответила без запинки. Поездка в Ленинград перевесила все её сомнения.

Глава 6. НИКАНОРОВНА

Зима тридцатого выдалась снежной и холодной. Музей в Сычёвке почти не отапливался, и она была постоянно простужена. Коллекцией можно было гордиться, только все экспонаты хранились в ужасающих условиях. Картины, дорогой фарфор, мебель из имения Паниных-Мещерских были свалены в комнатах без всякого описания и учёта. Договорились, что залы с этими экспонатами будут временно закрыты для посетителей. Евфросинья уезжала в Ленинград. Она надеялась, что узнает там все тонкости музейного дела. Пока же она не представляла, с чего начать. Сарафаны и горшки были просто детской шалостью в сравнении в тем, что ей предстояло сделать.

[1] Хожий — повседневный.

Она похудела, плохо спала, да и питалась лишь бы как. Клавдия Никаноровна, у которой она квартировалась, сама еле сводила концы с концами, и если бы не огород, как бы они выжили, один Бог ведает. Жили они в крошечной пристройке, которая предназначалась для сторожа. Две комнатки, в которых из мебели помещались кровать да стол. Печка топилась у Клавдии Никаноровны. Все неудобства покрывало то, что на работу ходить не нужно, выйди в коридорчик и упрёшься в дверь с табличкой: «Музей».

Долгими вечерами они чаёвничали у печки, и Клавдия Никаноровна рассказывала ей о прошлой своей жизни.

— Я ведь, Фросенька, всю жизнь в Лугино прожила, при барской усадьбе. Хороший был барин, любили его. Много делал для людей.

— Да что вы, Никаноровна, ведь эксплуататор, наживался на вашем труде.

— Уж не знаю, где он наживался, только сам был труженик ещё тот.

Еще мамка моя рассказывала, как привёз он коров какой-то невиданной породы, уж название-то их и не припомню.

— Из-за границы? Коров?

— Из-за границы. Красивые коровы были, рога — как корона на лбу. Удои были — молоко реками лилось. Масло делали, сыр, всю губернию кормили. Фермы были — загляденье, каменные. Больница была, школа, мамка моя грамотная была, в этой школе и училась. Батька на конезаводе трудился, коней одних было под двести, рабочие лошади. А сад какой! Кроме фруктовых деревьев, ещё и хвойные, для парков и усадеб. За саженцами со всех краёв приезжали.

— Так ведь всё это руками крестьян делалось?

— Конечно, руками. Как без рук? На то они и крестьяне. Кто-то крестьянин, кто-то барин.

— Клавдия Никаноровна, но ведь революция случилась, чтобы справедливость восторжествовала. Землю крестьянам, фабрики рабочим.

— Каждый на своём месте живёт с Богом, по совести. Вот если без Бога, так и начинается вся несправедливость. Барин-то наш верующий был, в храм на каждую литургию, исповедовался, причащался. Для него обидеть кого — грех, и неважно — крестьянин или министр какой. Вот и вся справедливость, Фрося. Вот есть сейчас у крестьян земля, а у нас к чаю только сухарь, на который мыши грустят. Разрушать — не строить. Ты уж меня прости, я не шибко грамотная, но не понимаю, как это новую жизнь строить на разрухе? Зачем было разрушать усадьбу? Кому она мешала? А сад? Лошадей пошто разворовали? Коров. Так и дошли до ручки, Фрося.

— Вы, Никаноровна, об этом не очень-то.

— Да знаю, только мне, старой, уже в этой жизни ничего хорошего ждать не приходится. Пока вы новую жизнь построите, я уж в другой мир уйду.

— Вы ещё увидите, как будет справедливо.

— Ну, дай Бог, детка. Ты вот про крестьян. А как француз пришёл, хотел усадьбу разграбить, кто спас? Кто горой стал за барина? Крестьянин и стал. Вона книга об имении. Глянь-ка, что было. Книгу эту хотели в костёр, да я сберегла. Читай-ка, я вечером плохо вижу.

Фрося улыбнулась, вспомнила Митрича. «Где ты, Митрич, где ты, бабушка моя Агата? Видите ли меня, Евфросинью?» Взяла книгу, прочла: «Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах». Открыла страничку:

«В 1870-е гг. в имение из-за границы был завезен симментальский скот, получивший отсюда свое распространение по всей губернии. Для крестьянских юношей Мещерские открыли школу скотоводства, маслоделия и сыроварения. Были построены новые хозяйственные и служебные помещения: каменное здание для большой фермы, дом с мезонином для сельскохозяйственной школы и служащих (построены в 1872-74 гг.). Кроме сельскохозяйственной школы, Мещерские содержали больницу, богадельню для крестьян, школу на 70 крестьянских детей (все они размещались в каменных домах рядом с церковью). В начале XX в. имение Лугино было одним из лучших в губернии, с хорошо налаженным хозяйством. Всей земли в имении 19144 дес. В хозяйстве производятся различные полевые опыты, содержится завод рабочих лошадей (всего до 170 голов), крупный рогатый скот (до 300 голов), выращиваются саженцы яблоней различных сортов, а также ель, лиственница, пихта, кедр, черная сосна, дуб, ясень, клен, ива различных сортов. Работает три кирпичных завода, три мукомольные мельницы, сыроварня, лесопильня льнообделочный завод...»

— Ну что? Плохая жизнь была?

— По-разному было, Никаноровна, не все так радели за землю русскую да за простого крестьянина.

— Сейчас, гляжу, радеют. Ты вот, девонька, целый директор, а что имеешь?

— Не говорите так. Трудное время, но скоро всё устроится, вот увидите.

— Да я уже, детка, навидалась, и хорошего, и плохого, дождусь ли времён, о которых ты мыслишь, и не ведаю. Работай, вижу сердце у тебя доброе, честная ты и правильная. Таким трудно по жизни.

— Я вам тайну одну скажу, можно?

— Ну, раз тайну, можно, — рассмеялись.

— Меня бабушка вымолила в Полоцке и назвала меня в честь святой преподобной Евфросиньи. Она всегда со мной. Во всём помогает. Мне с ней не страшно за любое дело браться.

— Что за святая такая? И не ведаю.

— Жила давно, в двенадцатом веке. Родилась в княжеской семье, у князя Георгия и княгини Софьи. Славный род был у её предков. И жизнь её ждала богатая. Только она о другом думала. Ушла в монастырь в 12 лет и стала Божьей невестой.

— Из терема богатого ушла?

— Из терема. Языки знала, стала книги переписывать, два монастыря открыла. Икону Богородицы из самой Византии ей привезли.

— О, девонька, сколько же ты знаешь про неё! Была в Полоцке?

— Была, бабушка Агата меня отвезла, ещё до революции ездили, мне как раз двенадцать годков-то и было...

Глава 7. ВАЗА

Однажды в Сычёвку приехал некий родственник соседей из Польши. Вечером, когда Никаноровна уже спала у себя в комнатушке, в дверь кто-то постучал. Фрося читала книгу. Накинула тёплый платок на плечи и с керосиновой лампой подошла к двери.

— Кто?

— Пан Ежи Полонский.

— Что вам нужно?

— Просто поговорить, не бойтесь меня, — открыла засов. В свете лампы слащавая улыбка, усики, кепи. — Добрый вечер, пани Евфросинья.

— Никакая я вам не пани.

— У нас в Польше все кабеты, простите, женщины — пани.

Он отличался от местных мужиков внешним лоском, но манеры и бегающий взгляд...

— Вы не в Польше.

— Это я уже понял. Как к вам обращаться?

— Просто Евфросинья Васильевна. Что вам нужно?

— У меня к пани весьма выгодная справа[1].

— Что вы хотели? — удивилась своему голосу. Он приобрёл чужие холодные нотки. Неужели это чужое «пани» или лисий взгляд его?..

— Вы меня даже чаем не угостите? Я знаю о гостеприимстве русских женщин.

— Так поздно чай не пью. Но если хотите, проходите, пожалуйста. Только вот к чаю ничего нет.

— Не страшно, — положил на стол плитку шоколада, печенье в жестяной коробке. — У пани могут быть самые лучшие продукты.

— Вы о чём?

— Я знаю, что у вас в музее много ненужного.

— Как это ненужного? — опешила.

— Так люди говорят. Всё самое ценное увезли в город. А тут осталось ненужное. Продайте мне вазочку из коллекции музея. Ваза с сосной. Сосна там, на вазочке. Сосенка такая, обычная сосна. Обычная....

Гость вдруг заволновался, зачастил, руки стали переставлять банку с печеньем в центр стола, смахивая при этом несуществующие крошки. Евфросинья замерла. Руки — холёные, никогда не знавшие работы, золотой перстень на безымянном пальце — жили отдельно от хозяина. Она непроизвольно спрятала свои в карманы тёплой шерстяной кофты, покрасневшие от холода, от мыла, от работы в музее, где приходилось и отмывать, и чистить всё то, что ценность имело огромную, но обесценилось в этом хаосе и разрухе.

— Пан разве не знает, что это не моя ваза?

— Пан знает, — улыбнулся, — но у пани столько всякого добра, да и кто ведае, что там есть у пани? Одной вазой больше, одной меньше. У моей мамы день рождения. Мама болеет, — вытер набежавшую слезу. — Это будет для неё большая радость. Пани мае маму? У пани ест мама?

---

[1] Справа – дело *(бел.)*.

— Вы меня не поняли. Простите, как к вам обращаться?

— Пан Ежи, просто Ежи. Можно просто Юрэк. Мама меня называет Юрэк.

— Пан Ежи! Я не имею права распоряжаться собственностью музея. Это не моё. Это наше. Уходите и забудьте. Никто вам ничего не продаст.

Он переменился в лице, лисья улыбка сменилась хищным взглядом, руки сжались в кулаки. На секунду Фросе стало страшно. Что они с Никаноровной против этого непрошенного гостя? Надо завтра просить охрану.

— Glupiec! Wszystko to zniknie![1]

— Немедленно уходите! — она схватила со стола большую тетрадь, где она вела записи музейных ценностей.

— Jestes bydlem. Nie znasz tej ceny.[2]

Он не забыл прихватить своё печенье и шоколад и выскочил из комнаты. В сенях загремел пустым ведром. Хлопнула дверь. Евфросинья обессиленно опустилась на стул.

Она понимала польский, чего там понимать. Быдло. Вы не знаете этому цены? Все пропадёт? Всё сгинет? Господи, помоги. Да, я быдло, я не ела из фарфора, но я знаю, что такое красота, и я всё сделаю, чтобы сохранить её. Что там он говорил про вазу? Сосна? Где она, эта ваза?

Она легла, попыталась уснуть, но сон не шёл. Встала, зажгла керосиновую лампу, через тёмный коридор прошла в музей. Фарфор был в другом зале, пока в ящиках, пересыпан стружкой.

Откуда он знает про эту вазу? Неужели Кузьма? Он помогал расставлять ящики, видел, как она подписывала, ставила номера, заносила в тетрадь. Ещё спросил, дорогие ли эти вазы. Она сказала в ответ: нет им цены. Так ведь к нему приехал этот Ёж — она так назвала своего гостя: Ежи-Еж.

Зажгла лампу, присела у ящика. Ваза была наверху. В дрожащем свете керосиновой лампы она была невероятно красивой. Небесно-голубой фарфор мерцал, и изображение было словно живое. Вчера прочла в книге, что это была распространённая подглазурная техника. Художник расписывал вазу по сырому фарфору, потом покрывал глазурью, и ваза отправлялась в печь, где температура была больше тысячи градусов. Фрося вдруг вспомнила фрески в Спасском храме Полоцка. Они были покрыты масляной краской — новыми униатскими иконами[3]. В одном крыле храма масляная краска с изображением отвалилась, то ли от влажности, то ли от времени, и Фрося увидела лик с огромными очами, ярко-синими, такими ясными, словно фреска была написана совсем недавно. Она тогда подумала — вот бы заглянуть под эти иконы, что там?

— Бабушка, что это?

— Не ведаю, детка, наверное, давно писали.

— Может, Евфросинья? Это она?

— Может, и она. Откуда мне такое знать? Вот вырастешь, прочитаешь в своих умных книжках.

Мысли вернулись к вазе. Она поставила лампу, достала вазу из ящика. Тулово вазы — у вазы именно тулово, она это помнила из книги — было цилиндрическим. Видно было, что выполнял роспись очень талантливый художник. Сосна на вазе как живая. Кора на стволе блестит потёками смолы, хочется потрогать. Наверное, шершавая. Фрося прикоснулась к поверхности и ощутила гладкую прохладу фарфора. Полупрозрачные краски — словно воздух, прогретый летним солнцем. Она зажмурилась, вдохнула, захотела почувствовать запах соснового дерева. Пахло сыростью и прелью. Никаноровна протапливала иногда, но дров было мало, и она экономила. У горлышка вазы крона сосны написана очень расплывчато, словно исчезает она в голубой дымке фона.

Фрося аккуратно положила вазу, чтобы посмотреть основание. Там увидела императорскую корону, дату 1892 и ещё — «Н II». Теперь ей стало ясно, зачем приходил этот пан Ёжик. Ваза бесценная. Императорский фарфоровый завод. Наверное, хозяину усадьбы её подарили или сам он купил такую красоту в подарок. Возможно, своей жене. Как сохранилась такая хрупкая красота в этой разрухе? Музей почти не охраняется, хлипкая дверь со смешным замком. Правда, Никаноровна постоянно на месте, но что может старуха против такого Ежи? «Завтра пойду в милицию, пусть ставят охрану. А пока спать».

Она замёрзла, не заметила, что вышла в одной рубахе, из тёплой одежды — пуховый платок Никаноровны да валенки на босу ногу. Пока рассматривала вазу, холода

[1] Дура! Все это пропадет! *(Польск.)*

[2] Вы быдло. Вы не знаете этому цены *(польск.)*.

[3] Древние фрески 12 века в Спасском храме Полоцка были закрыты сверху иконами, которым поклонялись захватившие Полоцк униаты (католики).

не чувствовала, а сейчас он подобрался, схватил ледяной рукой. Она взяла лампу, направилась к себе и поняла, что вазу здесь не оставит. Нужно за ней вернуться, да как впотьмах? Не дай Бог разбить ненароком. Решила поставить лампу в коридор и нести вазу короткими перебежками, пока света хватает. Так и поступила. Определила ей место в углу, рядом с кроватью, накрыла своим пальто, а сама забралась под одеяло, потихоньку согрелась и уснула.

Глава 8. СОН

И приснилась ей бабка Агата. Сидит у дома на лавочке и горестно качает головой. А Фрося идёт по тропинке и тащит вазу с сосной.

— Куды её тащишь, детка?

— Тебе тащу. Спрячь, бабушка, я в Ленинград еду, учиться музейному делу. Сопрут её, пока меня не будет, точно сопрут.

— Какой такой Ленинград? Сроду не слыхивала такого города.

— Так большой город, бабушка. В честь Ленина, Ильича, который во главе пролетариата. Петербург раньше был.

— Петербург знаю. Пошто он Ленинград?

— Так революция, бабушка.

— Какая такая революция?

— Да ты, бабушка, не поймёшь. Новая жизнь. У богатых всё забрали.

— Как так забрали? Украли? Ты украла эту вазу? — бабушка осенила себя крестным знамением.

— Да не крала я, бабушка, — заплакала, поняла, что объяснить очень трудно. Ведь вазу, да и всё остальное, просто забрали, точнее экспроприировали. Грабили награбленное. Но бабушке это слово ясности не добавит. Взяли без спросу, и точка.

— Как так? Откуда она у тебя? У нас сроду таких не было.

— Не моя она! — почти сорвалась на крик.

— Чего ж боишься, что её у тебя украдут, раз не твоя? Не буду помогать тебе, Фрося. Тёмное это дело.

— Да что ты, бабушка! Народная это ваза. В музее будет, будут люди ходить и любоваться, а в усадьбе её никто и не видел, — поставила вазу на землю да запричитала в голос: — Ай, я несчастная, бедовая!

И ваза вдруг, то ли от крика её, то ли ещё от чего, опрокинулась навзничь и покатилась по тропинке с косогора. Дзынь-дзынь — хрупкий императорский фарфор рассыпался на глазах, цеплялся за траву ветками сосны, словно кто-то рубил это прекрасное дерево страшным топором. Фрося онемела от горя и, словно в замедленной съёмке, смотрела на вазу, рассыпающуюся на мелкие осколки.

— Так и будет, детка. Не спасёшь ты её.

— Спасу, спасу! Не говори так бабушка! Спасу-у-у-у! Ты забыла моё имя? Ты забыла? Я Евфросинья!

И проснулась. Подушка была мокрой от слёз. Она приподнялась, глянула в угол. Ваза стояла, прикрытая её пальто. Фрося облегчённо вздохнула. Это просто сон...

Глава 9. ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

Ленинград встретил зимней стужей и ветром. Вещей у неё — мыши плакали: смена белья, банка мёда и книга про живопись 18 века. Пальтецо на ней на рыбьем меху, зато платок Никаноровна свой отдала ради такого случая — пуховый, тёплый. Да валенки на ногах с калошами. Калоши пришлось купить новые. Валенки были велики, намотали на ноги куски старых плюшевых штор из барской усадьбы, которые попали в музей вместе с остальным богатством. Шторы слегка обгорели во время пожара, пришлось их резать. Ох и радовалась Никаноровна, да Фрося не разрешила их транжирить на всякую чепуху, пригодятся. Никаноровна обиженно поджала губы — хотела покрывала на кровати себе и Фросе выкроить. Но на портянки — так и быть — два кусочка отвоевала.

— Ты, Васильевна, будешь в самых что ни есть революционных портянках.

— Не стыдно, Никаноровна? Не говори никому, и вообще, держи-ка ты язык за зубами.

— Так красивые же.

— Мне, главное, не снимать нигде валенки, засмеют меня в Ленинграде от такой красоты.

Город был на удивление пустой. Холодно. Она спросила, как пройти к Эрмитажу у женщины, идущей из булочной. В руках она держала тёплый ещё хлеб, и Фрося чуть не захлебнулась слюной, крошки во рту не держала. Женщина в шубке, старенькой,

потёртой, и шапочке с небольшой чёрной вуалью. Такую Фрося видела только в книжках.

— Милая, далеко до Эрмитажа. Замёрзнете. Вам бы на конке доехать.

— А пешком?

— Пешком долго, по Гороховой, через два моста. Замёрзнете, милая, — посмотрела на пальтецо, сокрушенно покачала головой.

— Да ничего, я привычная. Добегу.

— Зачем вам в Эрмитаж? Да ещё с вокзала. Хотя, простите. Понимаю, зачем туда ходят.

— Так я на курсы. Музейный работник. У нас в Сычёвке добра всякого с барской усадьбы, а что делать со всем этим богатством — ума не приложу.

— Сычёвка?

— Так Смоленщина. Смоленск. Слышали про такой город?

Улыбнулась.

— Конечно. Мария Клавдиевна Тенишева.

— Вы её знали?

— Мой отец служил в управлении железных дорог и очень хорошо знал Вячеслава Николаевича Тенишева, её мужа. Мы были у них в гостях в Петербурге. Давно, правда.

Фрося от неожиданности замерла:

— У Марии Клавдиевны? Нашей Тенишевой?

— А почему это она ваша?

— Так у неё дом в Смоленске и в Талашкино усадьба. Наша.

— Ну, хорошо, ваша так ваша. Пойдёмте ко мне, я вас горячим чаем напою, отогрею. Тем более, живу на пути к Эрмитажу. Оттуда короче будет и теплее, после чая.

Фрося засмущалась — идти к незнакомой женщине да ещё знакомой княгини Тенишевой? Но устоять не смогла, да и замёрзла. И по улицам Ленинграда одной было так страшно, огромный город обступал её со всех сторон высокими домами, таких она сроду не видела.

— Пойдёмте-пойдёмте, не бойтесь. Мы с вами сейчас свернём на Гороховую улицу, затем перейдём через Фонтанку, а там и мой дом. Отогреемся.

— Ой, спасибочки!

— Меня зовут Елизавета Павловна. А вас?

— Меня Фрося. Евфросинья Васильевна.

— Ну и славно, Евфросинья Васильевна.

Они повернули на Гороховую улицу, и Фрося опять сглотнула слюну. Сейчас бы супчика горохового горяченького, ну и чай сойдёт. Затем свернули во двор. Таких дворов она не видела никогда. Со всех сторон стояли такие же высокие дома. Задрала голову, увидела кусочек неба, по которому мчались тяжёлые облака.

— Как же вы тут живёте? У нас в Сычёвке дома низенькие, зато деревья, и лес, и солнышко.

— Петербург — очень красивый город, увидите.

— Ленинград.

— Да, никак не привыкну, — она отворила тяжёлую дверь подъезда. — Входите. На второй этаж.

В подъезде царил полумрак, пахло мышами. Из-за двери на первом этаже раздавался чей-то крик и женский плач. Фрося испуганно замерла.

— Не бойтесь, это соседи.

Они поднялись на второй этаж, Елизавета Павловна открыла дверь. На стене висела табличка: «Профессор Вознесенский Павел Петрович».

— Это ваш отец?

— Да, это была наша квартира. Он был инженером. Преподавал в университете. Железные дороги — это его детище. Теперь, увы, осталась одна комната, но главное — есть крыша над головой. Проходите, Евфросинья. Сейчас чайник поставлю.

Елизавета Павловна вышла с чайником в коридор, а Фрося осталась в комнате у порога. Это была большая комната с большим окном, выходящим на Гороховую улицу. Красивый паркет, начищенный до блеска, старинная мебель, которой было гораздо больше, чем следовало, и книги, книги. В книжных шкафах у стены, на полках, на полу, на стульях вдоль стен и даже на круглом столе, на котором хозяйка, по-видимому, пила чай. Фрося не посмела проходить в валенках и, пока хозяйки не было, быстро разулась, развернула свои плюшевые портянки и быстро засунула в валенки, осталась стоять в одних чулках.

— Что же вы разулись? У меня холодно. Надо было просто снять калоши. Надевайте быстренько! Простудитесь, — Фрося решительно не понимала, как ей быть. Она замялась у двери. — Ну, что же вы? — Елизавета Павловна поняла, что гостья стесняется, отвернулась, стала накрывать на стол. — Надевайте валенки и к столу, —

стала убирать книги, освобождать место для чая. — Это папина библиотека. Пришлось вот так сваливать. Нужно где-то спать и есть. Раньше тут стоял только письменный стол отца и небольшая кушетка, на которой он отдыхал. Какую-то мебель и посуду отнесла в ломбард, оставила только самое необходимое. И книги, конечно.

— А сейчас он где?

— Уехал в Киев. Вот уже месяц от него ни слуху, ни духу.

— А вы почему не уехали вместе с ним?

— Я не смогла. Здесь квартира, книги, кто меня там ждёт? Да и работа. Садитесь, будем пить чай, у меня есть хлеб и сахар.

Фрося залезла в свой дорожный мешок и достала оттуда баночку мёда:

— А вот мёд. Это вам.

— Что вы, милая девочка, это, наверное, всё, что у вас есть?

— Ничего страшного, меня обещали поселить и поставить на довольствие, не пропаду.

— Ну, тогда будем пить чай, и вы мне про всё расскажете.

Фрося взяла чашку — нежно-розовую, с позолотой, на ней искусно выписанные белые лилии.

— Какая красота, даже пить из неё страшно. Такая хрупкая.

— Это старинный сервиз, подарок. Вот всё, что от него осталось — две чашки и заварочный чайник. Жаль, это память о прошлой жизни.

— Понимаю, у нас в музее сервизов, конечно, нет, но много всего другого.

— Откуда же?

— Рядом с Сычёвкой, в Дугино, была усадьба Паниных-Мещерских. После революции всё это экспропри...ировали... — Фрося запнулась, вспомнила разговор с Терентьевной. — Отобрали.

— Да понятно, продолжай, — отрезала ломоть хлеба, намазала мёдом и подала Фросе. — Ешь, не стесняйся.

— А вы?

— И я. Александр Николаевич Мещерский — внук известного писателя и историка Карамзина. Он часто бывал в Петербурге. Мой отец хорошо его знал.

— И его знал?

— Что же тут странного? Хотя нет. Действительно странно. Но мой отец, и правда, знал многих, — она задумалась.

Фрося залюбовалась этой удивительной женщиной. Она сняла свою шубку и шапочку, осталась в аккуратном тёмно-синем платье с белым кружевным воротничком. Седые волосы собраны на затылке. Тонкие пальцы, тоненькое серебряное колечко. Конечно, морщинки. Но глаза ясные, молодые. Плачет...

— Не плачьте! Всё образуется. Он вернётся.

— В эту разруху? Его здесь никто не ждёт.

— Но ведь железные дороги будут нужны и новой власти. А вы сказали, что он был большим специалистом?

— Милая, вы лучше расскажите про свой музей.

— У нас в музее был письменный стол Карамзина. Его, слава Богу, забрали в Смоленск.

— Почему вы радуетесь?

— Да в Сычёвке пока никаких условий для коллекции нет. Вот подучусь и буду трепать начальство оборудовать музей как нужно.

— А как нужно?

— Ну, чтобы порядок был, чтобы люди приходили, любовались, узнавали про старину. У нас там и картин разных, и книг. В 19-м году дворец усадьбы сгорел, такая жалость, столько всего погибло. Но это мне рассказали, я ведь только недавно в Сычёвке, вообще-то я в деревне выросла.

— А где до музея работала, Фросенька? Можно так к вам обращаться?

— Конечно, я не люблю по имени-отчеству. Если только дети. Я учительница.

— Вот как хорошо. Коллега, я ведь тоже преподавала. Вы пейте чай, не стесняйтесь. Надолго на курсы?

— На целый месяц. В Этнографический музей и Эрмитаж

— Хорошо, это время и для одного Эрмитажа, конечно, ничего, но что-то узнаете.

— Елизавета Павловна, а почему мало, ведь целый месяц?

— Потому что несколько лет нужно, чтобы познакомиться с этими коллекциями. Эрмитаж поначалу был местом уединения.

— Уединения?

— Эрмитаж в переводе с французского — приют отшельника. Екатерина задумала этот зал для своих гостей. Там были картины. Но постепенно картин становилось всё больше, и Эрмитаж разрастался.

— И туда стали ходить простые люди?

— Нет, в Эрмитаж допускались самые знатные, приближенные к Её императорскому величеству. Военные в парадных мундирах, остальные — во фраках. Даже Александр Сергеевич Пушкин не мог посетить Эрмитаж.

— Даже Пушкин? Не может быть.

— Очень даже может. Правда, Жуковский исправил этот казус и подарил ему бессрочный пропуск.

— Как хорошо, что сейчас всё по-другому.

— Да. Музей стал общедоступным только в 1852 году.

В углу забили большие часы — бом-бом! Фрося отставила чашку.

— Спасибо вам большое, Елизавета Павловна. Мне пора.

— Согрелись? Ну, с Богом, детка. Осваивайте музейное дело. Да, и возьмите свой мёд, он вам ещё пригодится.

— Нет, и не думайте! Как такое возможно? — вспомнила пана Ежи с его печеньем, улыбнулась. Натянула свои калоши, завязала платок.

— Тогда давай договоримся, вы приходите ко мне, когда будет свободная минутка пить чай с мёдом. Согласны?

— Конечно, спасибо вам!

— Адрес знаете. Я буду очень рада. Тем более, могу подобрать книги по искусству. Они всё равно лежат без надобности. А вам, Фросенька, пригодятся...

Глава 10. ИВАН ПЛАТОНОВИЧ

В Эрмитаж её не пустили, попросили пропуск. Пришлось идти в здание администрации. Немолодая женщина в строгом чёрном костюме и белой блузке определила в общежитие, выдала талоны на еду и посоветовала сначала устроиться и поесть.

— Да не хочу я, не голодна, и устраиваться мне до вечера — только время терять. Это время для Эрмитажа — всего ничего. А у меня ещё Этнографический музей. Расскажите, куда и к кому мне идти?

— Да что за девушка такая настырная. Откуда? — покосилась на валенки с калошами, от которых на пол натекла грязная лужица.

— Ой, простите, натоптала тут. Из Сычёвки я. Приехала учиться музейному делу, а не прохлаждаться.

— Ну, курсы начнутся только завтра, устройтесь, погуляйте по городу. Вы были когда-нибудь в Ленинграде?

— Нет, не была. Да и гулять не хочу. Можно мне в Эрмитаж? Ну пожалуйста.

— Ну, что с вами делать? А вот и Иван Платонович. Он заведующий художественного отдела, в его ведомстве вся живопись Эрмитажа. Хотите к нему?

— Живопись? Конечно хочу. И живопись хочу, и посуду хочу, и скульптуру хочу. И древность всякую хочу.

— Ну, так не пойдёт, вы, милочка, определитесь. Курсы будут в одном направлении искусства. Так живопись не нужна?

— Нужна-нужна, пишите.

Человек, которого назвали Иван Платонович, подошёл к столу, отодвинул Фросю, словно стул, и проговорил медленно и чётко:

— Агния Альбертовна, я не отдам Боттичелли. Это преступление.

— Да вы что, Иван Платонович? Вы понимаете, что это саботаж? Вы же под суд пойдёте.

— Мне всё равно. Отдавать за бесценок сокровища? Во имя чего?

— Вы не были вчера на собрании? Проголосовали, всё принято к исполнению.

— Я не был вчера на собрании. Внесите в протокол большими буквами — я против!

— Да что вы, как дитя малое, даже если я задним числом внесу ваш голос против — это ничего не изменит. Большинство — за! Страна в тяжёлом положении. Нужны деньги на восстановление заводов и фабрик. Что я вам говорю...

— Остановитесь. Вы сами понимаете, что мы продаём? Вы в Эрмитаж ещё девочкой пришли. Я же помню. Такая, как вот эта девчонка. Вот вы, как вас зовут?

Фрося от неожиданности забыла своё Евфросинья Васильевна и пролепетала:

— Фрося.

— Вот, Фрося, скажите, вы знаете Сандро Боттичелли?

— Художник.

— Да, художник! С большой буквы. А картину его «Поклонение Волхвов» знаете?

— Нет, — испуганно пролепетала Фрося.

— И не узнаете, ибо я должен сегодня снять его, упаковать в деревянный ящик, словно покойника — и отправить.

— Куда?

— Да неважно, куда! Из Эрмитажа! Из России нашей. Эти картины собирали цари-эксплуататоры. Покупали для Отечества.

— Поосторожнее, Иван Платонович! Уймитесь! Займитесь лучше девочкой. Евфросинья Васильевна. Смоленск. Приехала учиться музейному делу.

— Смоленск. Тенишева. Да... — он замер. — Что я должен?

— Она вам все расскажет. Идите, Иван Платонович, идите...

Они пошли по коридору. Фрося рассмотрела внимательно спутника — чёрный пиджак, похожий на военный мундир, застёгнутый на все пуговицы под горло. Седые волосы, слегка вьются, серые глаза. Лет пятьдесят, а может, меньше. Просто седые волосы.

Вошли в здание Эрмитажа. У неё всё затрепетало внутри. Бежала по залам Эрмитажа за Иваном Платоновичем, а он, словно не замечал её, словно вообще забыл о её присутствии, вышагивал, будто неведомая птица, которая вот-вот взлетит. У Фроси закружилась голова. Вокруг — картины в красивых золочёных рамах — чьи-то румяные лица, напудренные парики, атласные платья, оборки, детские кудряшки, рощи в дымке солнечного тумана, фрукты, бокалы с вином, птицы. Ей хотелось остановиться, рассмотреть, но они шли так быстро, что только лица и рамы, рамы и лица успевала увидеть. Ей стало неловко — вспомнила про свои валенки, хорошо, калоши высохли, и она не оставляла следов на паркете. В этом блеске, великолепии, золоте она в своём пальтишке, платке, валенках, словно инородное тело. Женщины в строгих чёрных костюмах для порядка смотрели на неё, как на чудо, свалившееся неведомо откуда. Впрочем, Эрмитаж уже привык к разным гостям. И ей, почти бегущей за Иваном Платоновичем, никто не смел сказать ни слова. «Ой, здесь нужны тапочки. Как я?» Эта мысль не давала ей покоя, а ещё то, что придётся опять всё это снимать, и Эрмитаж увидит её красные плюшевые портянки. «Умру со стыда, но не разуюсь. Придумаю, что ноги болят, что ног вовсе нет, что у меня проказа. Не сниму...»

В одном из залов они остановились. Оглянулся.

— Фрося? Так?

— Так.

— А по батюшке?

— Васильевна. Евфросинья.

— Почему так назвали? Евфросинья.

— Бабушка назвала, в честь святой Евфросиньи Полоцкой.

— Знаю. Великая женщина. Дошла до Иерусалима. Но останется в памяти своим крестом и храмом. Это шедевр 12 века. Лазарь Богша. Византийские изографы, фрески.

— А вы откуда знаете?

— Я ведь искусствовед. Ну и фрески. Там под иконами униатов хранятся фрески 12 века.

— Жалко как... Их просто закрасили.

— Хранятся, именно хранятся. У Бога всё промыслительно, Евфросинья. Наступит время, и откроют их. Вы не увидите, ваши дети и внуки увидят. Так будет.

— Иван Платонович, — замерла, не нашла слов. — А крест? Почему крест?

— Там эмаль перегородчатая. Византийская техника. Этот мастер, Лазарь Богша, работал в безвременье.

— Это как?

— Есть предметы искусства — пятиминутки. Это и про живопись, и про книги, и про зодчество. А есть те, которые сотворили, именно сотворили, мастера своего дела, с Богом сотворили, понимая своё предназначенье.

— Гении?

— Наверное. Их творчество переживает время. Они вне времени, как Господь. В Эрмитаже таких много. Наши цари знали, за что платят золотом. Сандро Боттичелли один из них, кстати, мой любимый художник. Я защищал свой диплом по его творчеству в университете, был в Италии. Своими глазами видел Сикстинскую капеллу. Он её расписывал. Это божественно.

— Сикстинскую капеллу? Видели?

— Снаружи выглядит, как деревянная шкатулка, ничего особенного. Душа её спрятана внутри. Стены, потолок расписывали Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело. В то время папа Сикст был в ссоре с Медичи, и если бы они не помирились, не видать бы нам эту красоту никогда. Папа Сикст был поражён красотой работ Сандро и поставил его во главе этого проекта. Хотя там уже трудился Перуджино.

Фрося поняла, как мало она знает. Ни Перуджино, ни Рафаэля, ни Микеланджело. Но признаться было так же стыдно, как снять валенки. Иван Платонович уловил некое сомнение в её глазах и уточнил:

— Перуджино — учитель Рафаэля.

Она со знанием дела кивнула головой и подумала: «Обязательно выучу всех наизусть и их картины обязательно выучу. Иначе как я смогу заниматься этим делом?»

— Попасть в Италию сейчас сложно, но картины Боттичелли, Рафаэля у нас есть. Увидите, если поспешите. И скульптуру Микеланджело сможете увидеть.

— Скульптуру?

— Да. Скорчившийся мальчик. Он маленький, всего пятьдесят четыре сантиметра. Но на это стоит посмотреть. Он у нас в зале фресок Рафаэля. Когда-то его купила для Эрмитажа Екатерина II.

— И увидеть его можно?

— Увидите. Я отведу вас в зал фресок. Ну, а пока — Боттичелли.

Иван Платонович остановился, взглянул на Фросю: «Типичный представитель крестьянства. Совсем девчонка, валенки смешные. Но глаза! Какие красивые у неё глаза, словно у княгини Оболенской на портрете Каролюса-Дюрана. Точно, убрать пальто, красное платье, изгиб шеи, белую розу в руку. Эту картину чуть не продали, контора «Антиквариат» прошляпила эту красоту. Фрося. Надо же? Фрося». Улыбнулся.

Фрося поймала его изучающий взгляд, покраснела, опустила голову. А он продолжал рассматривает её, словно картину: «Нет этой воинствующей тупости, остриженных волос и ярко-красной революционной помады. Из девчонки выйдет толк. Ей всё интересно».

— Если вы рассмотрите картины моего любимого Боттичелли, поймёте — они солнечные, мечтательные, поэтичные.

Фрося замерла. Иван Платонович изменился. Это был не тот Иван Платонович, который злился, кричал, отстаивал своё — сумрачный и старый. Это был седовласый юноша с блестящими глазами, который воодушевлённо делился самым дорогим — Боттичелли.

— Его картины не всегда безупречны с точки зрения перспективы. Но мы не замечаем этого. Всё это неважно, когда видишь его живые линии. Невероятные каноны гармонии. Движение руки Мадонны, красивейший жест протянутой руки — до дрожи. Ещё минута, и она коснётся ангела. Эти пальцы, этот пейзаж за спиной. Он высушен, там нет воздуха. Мир за спиной — просто символ, Богородица — живая...

— Вы про какую картину сейчас?

— Простите, этой картины у нас в Эрмитаже уже нет. Я про «Благовещение». Мы передали её в Пушкинский музей, но она до сих пор стоит у меня перед глазами. Она когда-то здесь висела.

— Теперь в Москве?

— Может, и хорошо, что там. Есть надежда, что там и останется. В Эрмитаже было ещё одно «Благовещение» Дирка Боутса. К сожалению, продали. Есть такой Гюльбенкян, скупой рыцарь, миллионер, который спит и видит, как скупить по дешёвке шедевры Эрмитажа. Теперь он пустил слюну на Рубенса.

— Что же делать? — всплеснула руками.

— Вы же всё слышали. Там, в кабинете.

— Просто не голосовать?

— Святая простота! Но вы же понимаете, что это просто видимость. Мы и так спасаем, как можем, отправляем на реставрацию, в заказники, в другие музеи. Всё давно решено. Картины уйдут. Сейчас появился новый покупатель, американец Меллон. Этот богат безмерно и беспринципен. Планируется отправить в Америку двадцать полотен, среди них и эта, так что вам, Евфросинья Васильевна, повезло, возможно, мы видим её в последний раз.

— Как ужасно, — Фрося вспомнила пана Ежи. Эта ваза по сравнению с картинами не так уж и много, но растаскивается и малое, и великое. Растаскивается...

— По плану мы должны подготовить более двадцати полотен. Рафаэль, Ван Эйк, Тициан. Но самое страшное — Рембрандт. У нас самая большая коллекция его картин. Планируется восемнадцать полотен! Восемнадцать, Евфросинья Васильевна!

Он вдруг съёжился, словно от удара, и снова постарел на глазах. Седовласый красавец, вдохновлённый, знающий, невероятный. Ещё минуту назад она любовалась его жестами, голосом, впитывала всё сказанное. И вдруг заметила — плачет. Он плачет? Подошла и в каком-то неведомом ей порыве — обняла и стала гладить по волосам, как когда-то в детстве гладила её бабушка Агата.

— Всё будет хорошо, Иван Платонович! Всё образуется...

Он словно очнулся, отстранился:

— Всё хорошо? Вы шутите? Что может быть хорошо? Нам никто никогда не вернёт эти ценности. Никогда. Вместо них построят завод или дорогу. Вот и всё хорошее. У нас уже хотели выкупить серебряную раку Александра Невского. Что там рака, что там Александр Невский... Серебро, деньги! Серебро в итоге в Эрмитаже нашли, раку

сохранили. Воюем, как можем.[1]

Они вошли в новый зал, и Иван Платонович подвёл её к картине.

— Вот она! Сандро Боттичелли. Эпоха Возрождения.

— Как же мне запомнить всё это? И записать негде, — она чуть не заплакала.

— Просто слушайте. Важно почувствовать, увидеть, услышать. Запишете потом, что запомнили. Я вам книгу дам. Почитаете.

— Простите, Иван Платонович.

— Представляете, Сандро родился в солнечной Флоренции. Автопортрет его пропитан солнцем. Это вам не наш пропитанный дождём Петербург. Отец — простой кожевник по фамилии ди Ванни Филипепи.

— А почему сын — Боттичелли?

— От брата, брат был круглый, как бочонок. Ювелир, кстати. Но Антонио ювелиром не стал, хотя они работали поначалу вместе. Его интересовала живопись. И он оставил ювелирное дело и пять лет учился у монаха подмешивать в краски солнце.

— Подмешивать в краски солнце?

— Есть такие мастера. Мой любимый Куинджи подмешивал в краски луну. Увидите, но я отвлёкся. Сандро Боттичелли. Его называли рыцарем Богородицы. Отец упрекнул однажды, что Сандро в своём рвении напоминает рыцаря, давшего обет служения Деве Марии.

— Много картин ей посвятил?

— Много. Ученик ювелира, когда-то рисовал медали, наверное, тогда он понял, что такое линия. Линии из икон — сначала абрис, тёмный, проглядывает сквозь тонкий фон темперы. У Боттичелли линия играет основную роль. Вы познакомитесь с его рисунками. Там это очень видно.

— В коллекции есть его рисунки? Это такая редкость.

— Их немного, но они — прорыв. Его женские портреты — печаль о юности, неземная красота, неземное ощущение. Создания его уже не принадлежат этому миру. И есть ещё одно новшество. Окна.

— Окна?

— Окна на портретах — удивительный ход, новое ощущение.

— Почему?

— До него портреты писали на тёмном фоне. Окна Боттичелли — ощущение пространства, жизни, света.

— Как красиво вы рассказываете. Как же мне хочется всё это увидеть, узнать. И про Боттичелли. Я поняла, нужно знать художника, его жизнь, и тогда поймёшь его творчество.

— Сложная у него была жизнь. Пусть известен. Пусть расписал Сикстинскую капеллу. Вроде и деньги были, и заказы. Но Боттичелли грустен. Страшный факт из его биографии — он сжигал свои картины на площади во Флоренции.

— Зачем? Вы шутите?

— Если бы. Вы знаете что-нибудь про Савонароллу?

— Это художник?

— Что вы, Евфросинья Васильевна! Ну да ладно, не знать — не стыдно, не краснейте. Стыдно — не хотеть узнать. Я в двух словах. Савонаролла — религиозный фанатик. Хотел очистить огнём самый пышный город Италии. Были такие бродячие поэты-философы — ваганты. Они шутили, что Рим может спасти потоп, каменный дождь или турки. Но появилось четвёртое средство — Савонаролла. Он попытался очистить католицизм он налёта роскоши. К сожалению, полотна Боттичелли попали под разряд — презрение к миру. Осуждение грехов выливались в уличные праздники — костры тщеславия. Туда отправился томик Декамерона, игральные карты. К сожалению, свои ранние работы бросил в костёр великий Сандро Боттичелли. Скоро в костре был сожжён и сам виновник такого сожжения. Но это классика. Тираны всегда затягивают петлю на своей шее.

— Савонароллу сожгли на костре?

— Нет, его повесили под восторженный рёв толпы, которая совсем недавно разжигала костры, следуя его благим порывам. Но Боттичелли стал другим. Повзрослел. Поздние его работы потеряли солнце. Настоящий Боттичелли исчез, умер в нищете, забытый, сломленный, одинокий. Впрочем, это участь многих талантов. С ними сложно простому обывателю. Через триста лет он возвратится. Навсегда.

---

[1] В коллекцию Меллона должна была отправиться «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи. Но Меллон потерял пост министра, и его обвинили в неуплате налогов. В 1933 году закончилась первая пятилетка. Деньги от продажи ценностей составили менее одного процента от средств, затраченных на покупку оборудования для фабрик и заводов. После 1933 года торговля ценностями была завершена. К власти в Германии пришел Гитлер. Он запретил все торги с участием иностранцев. Как ни странно, этот шаг спас коллекцию Эрмитажа.

— Но ведь за портреты ему платили? Почему в нищете?

— Поначалу не бедствовал, я думаю. Но заказ есть заказ. Пошли портреты, но искусно вписанные в библейские сюжеты. Одну такую картину мы сейчас увидим. «Поклонение волхвов». Что вы видите, Евфросинья Васильевна?

Фрося подошла поближе:

— Богородица с младенцем. Над ними Иосиф. Пещера. И очень много людей. Я думала, что в пещере были только Бальтазар, Мельхиор, Каспар. Откуда же их понабежало столько?

— Понабежало? — улыбнулся. Фрося покраснела, сникла. — Да, всё правильно вы говорите. Именно понабежало. Это заказ. Интерпретация сюжетов меняется за счёт реальности потребителя. Увы. Человек в светло-синей одежде — заказчик. Богатый флорентиец. Имя его не помню. Но, кроме него, ещё и семья Медичи, конечно. Куда без них. Все братья Медичи, как на подбор. Горделивые, нарядные, статные. Деньги решают многое в этой жизни. Они на переднем плане картины. Волхвы явно теряются в их блеске.

— А кто это справа, в золотистой одежде, смотрит на нас?

— Точно, смотрит, словно спрашивает — ну как вам? Сам художник. Сандро. Смотрите, Фрося. Наслаждайтесь. Эту картину сегодня снимем, упакуем и отправим.

— Как? Эту красоту?

— И не только эту. Советской власти нужна валюта. Удивительно, что цена смешная, я думаю, вряд ли кто-то сейчас, зная наше положение, будет платить истинную цену. Вышли на панель с Сандро Боттичелли в руках.

— Иван Платонович, не говорите так.

— Это правда, Евфросинья Васильевна, от меня вы, к сожалению, другого не услышите. Увы. Кстати, вы устроились?

— Нет.

— Ступайте, завтра в девять утра начнутся лекции. Не опаздывайте. У вас талоны на обеды, в восемь тридцать вы можете позавтракать, это совсем рядом, увидите вывеску «Столовая» — входите. В том же здании и наше общежитие. Не хоромы, но будете под крышей.

— Спасибо, Иван Платонович!

Фрося вышла из Эрмитажа. Ей хотелось ущипнуть себя. Ленинград подарил ей столько удивительного. Она даже забыла про проданную картину. Иван Платонович — пело у неё внутри, и она боялась себе признаться, что он ей очень понравился. «Неужели я влюбилась? Как девчонка, с первого взгляда. Разве так бывает?»

Глава 11. МУЗЕЙНЫЕ КРЫСЫ

Общежитие, в которое её определили, действительно было рядом с Эрмитажем. Тяжёлая дверь с круглой ручкой, которую она открыла с трудом. Большая парадная лестница. Фрося замерла в нерешительности и правильно сделала. По лестнице подниматься не пришлось. Мужчина с большими, лихо закрученными усами встретил её у входа.

— На курсы? — важно промолвил, смерив её взглядом.

— Да, — пролепетала Фрося.

— Направо и вниз по боковой лестнице. Где вещи?

— Какие? — Фрося замерла.

— Твои вещи?

— Вот, — она протянула ему свою дерматиновую сумку, больше похожую на вещевой мешок.

Он удивлённо покачал головой, а Фрося засмотрелась на его усы, которые качались, словно крылышки какой-то неведомой бабочки.

Спустилась по лестнице и увидела полутёмный коридор, едва освещённый тусклой лампочкой под потолком в самом конце. По коридору несколько дверей. Прислушалась. За первой раздавался чей-то смех. Постучала. Смех прекратился. Приоткрыла дверь, вошла. Маленькое окно под потолком освещало небольшую комнату. Три кровати, стол у стены. Две женщины за столом пили чай и оживлённо что-то обсуждали.

— Здравствуйте! Мир этому дому.

— Да уж, дом, собачья будка, — промолвила та, что сидела ближе к Фросе, рыжеволосая толстушка в тёплой зелёной кофте. Вторая лишь хмыкнула и откусила кусочек бутерброда с колбасой. Была она очень красивой — светлые пушистые волосы собраны на затылке, чёрное платье, наглухо застёгнутое перламутровыми пуговками от длинной шеи до талии. Капризные губы недовольно морщились то и дело.

— Есть крыша над головой, и ладно. Вы тоже на курсы?

— Что значит тоже? И вы? — красавица осмотрела с ног до головы и даже перестала

жевать бутерброд. Голос неожиданно резкий, словно оттягивал Фросю плёткой.

— И я.

— Вы служите в музее? — брови удивлённо приподнялись. — В каком?

— Да. Далеко отсюда, вы про мой посёлок и не знаете. Что толку говорить? — Фрося присела на кровать, которая была рядом с дверью, и только сейчас поняла, как же она устала за этот длинный день. — А вы откуда?

— Из Москвы. Мы сотрудницы московских музеев.

— О, Москва! У вас там красота.

Ответа не последовало. Рыжая толстушка, Раиса Григорьевна, как выяснилось потом, быстро убрала со стола остатки пира — белый хлеб, колбасу, сыр — невиданную по нынешним временам роскошь, и плюхнулась на кровать у окна.

— Аглая Ильинична, душа моя, завтра вставать ни свет ни заря — давайте-ка спать ложиться. А вы? Как вас величать?

— Евфросинья Васильевна.

— А вы, Евфросинья Васильевна, разувайтесь, и на будущее — у нас тут тапочки, с улицы грязь не тащим. Не самовольничайте. Есть правила советского общежития. Ознакомьтесь. Они на стене в рамочке.

— Я читать не умею, уж простите, — Фрося сняла валенки, демонстративно размотала свою красоту на ногах и развесила на спинке кровати, чтобы просохла.

Хотелось есть и спать, и она не понимала, чего же больше. Почему-то её совсем перестало интересовать, что подумают эти музейные барышни. Хамство всегда вызывало желание отодвинуться. У неё была цель — узнать как можно больше о музейном деле, а то, что в музеях есть крысы, ну что же, в жизни всё непросто, и рай на земле Фросе не обещали. Не то ещё видала. Уснула сразу, не обращая внимания на хихиканье своих соседок, а ночью проснулась от шуршания. Свет луны озарял комнату. Она приподнялась и увидела на подоконнике двух крыс, которые доедали остатки вечерней трапезы. Крыс Фрося не боялась, накрылась одеялом с головой и уснула.

Глава 12. ФРЕСКИ

Утром проснулась первая, умылась в умывальнике в коридоре и ушла. Вспомнила, что у неё есть талоны, и, к счастью, увидела столовую, где выпила чаю и съела тарелку вкуснейшей пшённой каши. Жизнь налаживалась. У Эрмитажа её встретил большой рыжий кот. Он потёрся о ноги Фроси, замурчал.

— Ну, привет, любитель музейных ценностей. Я слышала, что ты стоишь на довольствии и получаешь паёк. Жизнь у тебя распрекрасная. Ещё и любые картины для тебя доступны. Интересно, а можешь ли ты спать на царских креслах? Я видела такие в одном из залов.

Кот фыркнул, и Фрося не поняла, да или нет. Кот развернулся и гордо прошествовал в сторону Эрмитажа.

Времени до начала ещё много, и она прогулялась по площади. Утро выдалось на удивление солнечным. Снег искрился, блестел, снежинки кружились в прозрачном воздухе, словно серебряная пыль. Она очень любила вот такую ясную морозную зиму. Набрала в рукавичку снега, хотела слепить снежок. Не тут-то было. Снег рассыпался, словно сахар. Просто ссыпала с рукавички и любовалась этим маленьким снегопадом.

— Доброе утро, Евфросинья Васильевна. Смотрю, вы ранняя пташка.

Оглянулась и залилась пунцовой краской.

— Иван Платонович? Доброе утро!

— Я говорил, что вы похожи на княгиню Оболенскую?

— Да, особенно в этом платке и валенках.

— Увы, я не уверен, что она сейчас в вечерних туалетах и бриллиантах. Пойдёмте, через десять минут начинаем. Я сегодня буду рассказывать об искусстве Древней Руси. Вам будет интересно, — они вошли в здание Эрмитажа, Иван Платонович помог ей снять пальто. — А валенки не снимайте, только калоши. И вам будут завидовать все модницы наших курсов. В Эрмитаже холодно, и замерзающим курсисткам будет не до фресок. Уж поверьте.

— Так можно?

— Нужно. Пойдёмте, — они пошли по боковому коридору в небольшой лекционный зал. Там были составлены столы и стулья, небольшая трибуна. — Присаживайтесь, Евфросинья Васильевна. Кстати, вы сможете записывать всё, что посчитаете нужным. Говорю быстро, сразу предупреждаю.

Маленький зал стал быстро наполняться. В основном это были женщины. Рядом с Фросей села совсем девчонка.

— Стеша, Степанида Степановна. Но лучше Стеша, — улыбнулась. — У нас в семье

все Степаны или Степаниды.

— Фамилия — Степановы?

— А как вы догадались? — засмеялись. — Нет, я Авдеева. А вы?

— Я Евфросинья Васильевна Буркина. Можно просто Фрося. Смоленская область.

Стеша протянула свою ладошку:

— А я из Новгорода. В музее совсем недавно. По комсомольской путёвке. У нас обновляют кадры. Молодёжью.

— А в каком музее?

— Антирелигиозном. Это здание Софийского собора.

— У нас тоже. В Успенском соборе.

Они замолчали. Вошёл Иван Платонович. Представился.

— Симпатичный какой, — Стеша глянула на Фросю. — Интересно, женат?

Фрося покачала головой. Иван Платонович помолчал несколько секунд, осмотрел всех присутствующих, на секунду остановил взгляд на Фросе, слегка улыбнулся. Стеша толкнула кулачком Фросин бок и прошептала:

— Ты его знаешь?

— Тс-с-с, потом... Слушай.

— Сегодня мы будем говорить о домонгольском периоде искусства святой Руси. Прошу реагировать адекватно. Понимаю, что в новой жизни Богу почему-то не нашлось места, но он и не нуждается. Нуждаемся в нём мы, поэтому сегодня это будут фрески древних храмов. Я, пожалуй, начну с христианско-античного искусства. Всё нежное, изящное, гармоничное, остроумное, мало-мальски жизненное пришло из эллинизма. Всё чёрствое, гордое, роскошное пришло с Востока. Не последнюю роль сыграли погибшие культуры Ассирии и Вавилон... — в дверь постучали. — Входите.

Вошли Фросины соседки:

— Простите, очень долго добирались.

Иван Платонович продолжал, а Фросе стало смешно. Идти-то всего семь минут, проспали. Взглянув на Аглаю, поняла причину опоздания: волосы уложены с особой тщательностью — локоны заколоты на затылке и закреплены красивым бархатным бантом. Такое же вишнёвое бархатное платье с рубиновой брошью у воротничка. Все невольно оглянулись и рассматривали вновь пришедших.

— Внимание, — Иван Платонович постучал карандашом по стакану с водой, который стоял на его трибуне. — Повторяю, тема — фрески древних храмов. Святая Русь.

И тут голос:

— Это нам зачем? У нас антирелигиозный музей, и фрески эти никому уже не нужны. Да и храмы ваши. Религия — опиум для народа.

Иван Платонович замер на миг.

— Вы откуда?

Фрося оглянулась. Это была Раиса Григорьевна. Она встала и промолвила:

— Раиса Григорьевна Ольшевская, антирелигиозный музей в Донском монастыре. Религия охотно одевается в узорные одежды искусства. Так сказал Луначарский.

— Вы так точно его цитируете?

— Да! Храм — театр, алтарь — сцена, иконостас — декорация, духовенство — актёры, богослужение — музыкальная пьеса.

— Ну, что же, Раиса Григорьевна. Я уважаю Анатолия Васильевича, хоть и не учу его наизусть. Мне ближе Пушкин и Шекспир. Но он один из немногих образованнейших людей в правительстве. Кстати, в споре с Бухариным он сказал, что знакомство с прошлым человечества — это не «плен» буржуазной культуры, а образованность. Впрочем, я вас не удерживаю, сударыня. Каждый определяет степень своей образованности сам.

— Я вам никакая не сударыня. Я вам товарищ Раиса.

— Товарищ? — улыбнулся. — Извольте. Продолжаю, с вашего разрешения, товарищ Раиса. Итак. Древняя домонгольская Русь. Почему-то многим она кажется бесконечно отсталой. Этот миф рассыпается, как только мы начинаем знакомиться с немногочисленными предметами, дошедшими до нас. Это два периода — дохристианский и христианский. Остановимся на последнем. Надеюсь, во всех смыслах. Древняя Русь — наследница Византии. Вообще, наши предки считались варварами и Кирилла и Мефодия не поддерживали. На варварском славянском языке говорить о Боге? И тем не менее, высокая планка искусства была взята. Каменные храмы — Киевская София, София Великого Новгорода, София Полоцкая продолжают прекрасные фрески и мозаики Софии Константинопольской. И пусть весьма явно прослеживается рука греческих мастеров, рождается такое чудо, как русские фрески. Причём у каждого города своё лицо, в отличие от застывших форм Византии. Новгород: яркий, открытый, красный фон создаёт неповторимый колорит. Псков сдержан

по цвету, и все иконы — душевные, тёплые, сердечные. В Византийской иконе мы уходим в золото нетварного света, а русская икона распахнута на зрителя. Помните пословицу: глаза — зеркало души? Полоцкий храм 12 века, который построил зодчий Иоанн по инициативе святой преподобной Евфросиньи Полоцкой, отличается именно таким изображением святых. Глаза на пол-лица. Евфросинья Васильевна, согласны? Вы ведь видели это?

Фрося от неожиданности вздрогнула:

— Видела, Иван Платонович. Уцелевшие лики святых смотрят на мир распахнутыми очами. Даже глазами это не назовёшь.

— Прекрасно. Так вот со временем очи становятся всё меньше. В иконах более позднего периода они соответствуют пропорциям лица. Но это потом.

Фрося услышала за спиной шушуканье своих соседок по комнате:

— Надо же, специалистка по иконам.

— В домонгольских валенках.

— Нам, к сожалению, так мало осталось от тех времён, да и то, что осталось, мы не бережём. То, что происходит сегодня — варварство. Мы поймём, оценим, но многое будет безвозвратно утеряно. Время безжалостно, но ещё более безжалостен человек, не понимающий, что он творит...

Фрося вдруг вспомнила Савонароллу. Нынешний тоже всё рушит, и пусть цели другие, главное не меняется. Разрушай и властвуй. Иван Платонович ещё долго рассказывал о искусстве, литературе, берестяных грамотах, уцелевших фресках, о иконах, о храмах 12 века. Она в очередной раз удивилась широте его знаний. О смоленском храме Петра и Павла он говорил особенно подробно, и ей стало стыдно. Как мало она знает о своей родине, о Смоленщине. Он упомянул и «Слово о полку Игореве». Славный князь Всеслав Чародей, который там упоминается — дед её Евфросиньи, святой преподобной Евфросиньи Полоцкой? А ведь она не знала и об этом. Но самое удивительное — он показал фотографию новгородской иконы 12 века «Ангел Златые власы», и она увидела очи, глубокие, смотрящие в самое сердце с таким смирением и любовью. Так смотрела на неё перед смертью бабушка Агата.

Глава 13. ПРОЛЕТАРСКАЯ ДЕВКА ИЗ ВИЗАНТИИ

— Евфросинья Васильевна, давайте держаться друг за дружку?

— Давайте, Степанида Степановна.

— Тогда Стеша.

— Тогда Фрося.

Рассмеялись.

После лекции они пошли в столовую. В меню — пустые щи. Хорошо, хлеба было вдоволь. Стеша загадочно улыбнулась и вытащила из сумки небольшой пакет.

— Что это?

— Увидишь. Папка мой паёк выделил на всякий случай, чтобы ноги не протянула.

Она развернула бумагу, а там... Сало. Нарезанное тонкими белыми ломтиками, с мясной прослойкой.

— Давай-ка с супчиком вприкуску.

— С таким обедом питерский холод нам нипочём. Пойдём гулять?

— Пойдём, конечно. Ленинград красивый, но мой Новгород лучше.

— Лучше?

— Представь — раннее утро, Ильмень-озеро. Скалистый берег, а на нём возлежат, именно возлежат камни великаны. А над ними облака плывут, словно корабли из прошлого с белыми парусами. Несут вести из других земель. Батюшка Ильмень слушает их сказы и былины, вздыхает, иногда злится. Ну, уж если злится...

— Страшно?

— Страшно. Волны высокие. Ещё полчаса назад тишина, гладь, и вот небо темнеет, ветер и шторм, словно не озеро это, а море. Домик у бабушки и дедушки на берегу озера, в селе Ондвор. Говорили, что оно старше самого Новгорода.

— Ондвор? Он двор. Интересно. Такое почитание двора.

— Так двор в селе — земная жизнь. Там всем есть место: и хозяину, и корове, и лошадке, и овцам, и курам, и гусям. Там запасы, чтобы пропитание было, там пчёлы, там птицы, там огород и цветы. Труд, конечно, любит этот двор с утра до вечера.

— Знаешь, слово дворец — от слова двор.

— Точно. Двор не от дворца, дворец — от двора.

— Да какие дворцы без дворов.

— Ага. У деда была парусная лодка сойм, рыбак был дед. Ильмень и забрал его вместе с лодкой, разозлился за что-то.

— Как забрал?

— Как озеро забирает? Налетела волна, перевернула лодку, как спичечный коробок. Когда дед на рыбалку ушёл, небо было ясное. Просилась, помню, а он не взял. Я в детстве рыбачка была знатная. Плакала, кричала на берегу. Он словно чувствовал что-то: «Оставайся ты, Стешка-горлуха[1], на хозяйстве, пеки пироги к моему возвращению. Затолнула, что бабка тесто завела? Одна разве справицца?»

— Затолнула?

— Забыла, значит.

— Говор какой красивый.

— Простой говор.

— Скажи ещё что-нибудь по-вашему.

— Кривага. Знаешь, что это?

— Что-то кривое?

— Кривая дорога, а зимняя — зимага.

— Весенняя — весняга?

— Нет. Весенней дороги-то нет, распутица. Вспомнилось: жадоба — жадина.

— Знакомое слово, мы в детстве тоже так говорили.

— А жадобушка — ласково, меня так бабушка называла: «Стешечка-жадобушка, расцвёвши, як цветочек».

— Стешечка — жадина?

— Жадобушка — значит жалею тебя, Стешечку.

— А меня бабушка кветочкой звала. «Годавала кветочку у садочке».

— Годавала?

— Растила. Годами. Значит, годавала.

— А вот это поймёшь? В кустовняге корова-то забравша, а слепни так и жогают.

— Это понятно. Кустовняга — смешно. Ещё скажи.

— Кабры покажь?

— Это как?

— Кабры — руки. Тёпла одевайся, а то квыкать будешь.

— Квыкать?

— Кашлять.

— Кибры-то чесала с утра?

— Волосы?

— Да.

— Певучий говор.

— Певучий. «Как пошёл Садко к Ильмень-озеру, садился на бел-горюч камень и начал играть в гусельки яровчаты, как тут-то в озере вода всколыбалася, показался царь морской...» Когда дед тогда не вернулся, я думала, что царь морской деда моего и забрал.

— А у меня Митрич был дед, смешной. Любил, чтобы я ему газеты читала. Сам грамотный, а меня просил. Я сердилась, думала, что он ленивый, а он просто меня любил, любовался и гордился, что я маленькая, а грамотная. Он-то грамоту выучил, когда взрослый был. Бабка Агата, та вовсе грамоты не знала. Хотел, чтобы я учительницей стала. Так и случилось. Я до музея в школе работала. А ты?

— Я историк.

— А как попала в музей?

— У нас многих музейщиков привлекли по 58 статье. Их места комсомольцами заткнули.

— За что?

— Ты с луны свалилась? Это антисоветская организация противодействия антирелигиозной работе.

— Сохранение ценностей? Антисоветская?

— Да, считается, что основная цель — реставрация монархического строя.

— Стеша, так ведь это можно каждому из нас приписать?

— В том-то и дело. Нашего завотделом древности, Бориса Владимировича, забрали среди бела дня. Нищий, ни кола, ни двора, жил при музее в комнатушке, прямо в Новгородском кремле. Такую работу провёл — специальный учёт всех колоколов по монастырям и церквям, с рисунками орнаментов, все размеры, вес. И то, что отец его — профессор Иркутского университета, не помогло.

— Так ведь и Ивана Платоновича могут забрать, — побледнела, — он ведь сегодня про Савонароллу. А если кто-нибудь доложит? Слышала, что говорила товарищ Раиса? Почему он так неосторожен? О, Господи, помоги!

— Тут Господь не поможет, из-за Господа и заметут.

— Что ты такое говоришь, Стеша?

[1] Горлуха – громко кричащий человек.

— Я комсомолка. Не вижу смысла бороться за религию. Это в прошлом.

— А что в настоящем? Варварство?

— Ну почему? В храме музей. Плохо, что многие ходят туда по-прежнему Богу молиться. Но есть и те, кто тянется к культуре.

— Стеша, я не хочу с тобой спорить, вера — личное дело, очень личное. Я и сама не знаю, кто я. Вера моя слабая, словно тонкая нить. Больше в себя верю. Но помню бабушку свою. Она всегда говорила: без Бога — не до порога. Да и назвала меня Евфросиньей она в честь святой Евфросиньи Полоцкой. Весь род наш православный. Почему на мне должно прерваться то, чем жили мои пра-пра? Я самая умная? Так вера ведь — сердце, а не ум. Выходит, сердце моё должно лишиться любви?

— Почему любви? Люби себе на здоровье.

— Но ведь Бог — это любовь. С какой любовью он создал этот мир! И какая культура без Бога? Все сюжеты мировой культуры — литература, живопись, музыка — есть в Евангелии. Что ещё живёт в памяти народа так? Сколько веков прошло? Ты видела здания, которые красивее храма? Я читала, что если возле пирамиды Хеопса поставить маленькую деревянную церквушку русского Севера, на пирамиду никто и не посмотрит.

— Это история, Фрося, просто история. И мы строим новый мир, мир равенства и братства.

— В храме мы тоже обращались друг к другу — братья и сестры. Это ли не братство?

— Да, а то, что рядом стоял купчина мордастая или помещик, который наживался на братьях и сестрах?

— Люди разные, с разной мерой совести. Конечно, богатому в рай попасть труднее. Помнишь, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное.

— Что за игольное ушко?

— Говорят, в Иерусалиме есть узкие ворота, верблюд не может пройти через них, пока не будет разгружен.

— Значит, богатому надо отдать всё накопленное? Вот революция именно об этом.

— Революция ведёт в царство Божие? Она взяла все идеи Евангелия и довела их до абсурда, вот что она сделала. Ты видела моих соседок? Голод, а они колбасу и сыр едят, а у многих только хлеб. Что изменилось?

— Евфросинья Васильевна, а вы не боитесь? Я ведь комсомолка.

— Не боюсь, — улыбнулась. — Вы со мной салом делились?

— Делилась.

— Ну, со своими соседками точно не буду об этом.

— Ладно, Фрося. Но давай молчать. И верить в светлое будущее на земле. И строить его. Давай? — протянула ладошку.

— Давай! Строить согласна. Особенно светлое будущее.

Они погуляли по Невскому, замёрзли, и Стеша отправилась к своим дальним родственникам. Фрося решила дойти до Гороховой. В комнату к своим соседкам не хотелось, разве только сразу уснуть.

До Гороховой доехала на трамвае. Окно покрылось изморозью, она продышала себе небольшой кружочек и пыталась рассмотреть пробегающие мимо дома.

Милая старушка в меховой шапочке и муфте — из бывших — любезно согласилась подсказать, на какой остановке ей следует выйти.

— Вижу, вы не петербурженка?

— Я из Смоленска.

— Красивый город. Мне довелось побывать там, правда, очень давно. Мой отец был лично знаком с губернатором Александром Григорьевичем Лопатиным, они были уроженцами Псковской губернии. Имения родителей были рядом с Торопцом, по соседству. Боже мой, это было почти пятьдесят лет назад, а я помню как сейчас. Какое там красивое здание Дворянского собрания! А собор! Успенский, кажется?

— Успенский.

Вздохнула»

— Мы с папенькой были приглашены на открытие женской гимназии, Александр Григорьевич предлагал ему возглавить это учебное заведение. Но не случилось. Переезд не случился, — помолчала, что-то вспоминая. — Мне выходить, а у вас ещё две остановки.

— Спасибо вам! — Фрося улыбнулась.

Очень милая старушка, словно время не властно над ней, посчитала, что ей уже за восемьдесят, а осанка, походка — словно у девчонки. И муфточка, правда, слегка побита молью, но так царственно она её умеет носить. Фрося глянула на свои толстые вязаные рукавицы — тепло и ладно. С муфточкой да в валенках — красота.

Елизавета Павловна обрадовалась ей.

— Фрося, Евфросинья Васильевна, какая же вы молодец! А я, как чувствовала, в булочную сходила с утра, купила пышек, настоящих. Мне повезло, вчера в ломбарде продали мой кофейный столик, мне не пригодится, кофе уже за порогом моего кошелька. Зато будем пить чай с пышками и с мёдом.

— С удовольствием. Да вы не хлопочите. Я пообедала.

— Ну, тогда чай позже. Рассказывайте, как устроились? Как курсы?

— Устроилась хорошо, рядом с Эрмитажем. Курсы замечательные. Заслушаться. Столько нового, мне даже грустно иногда оттого, какая я дремучая.

— Вы ещё так молоды, Фрося. Всё впереди. О чём сегодня?

— Искусство Древней Руси. Фрески. Были недовольные, правда. Считали, что это современному музейщику не нужно.

— Музейщику?

— Ну, музейному работнику.

— Евфросинья Васильевна, вы уж меня простите за мой старорежимный подход, но упрощение в речи смерти подобно, так мы дойдём до междометий. Вам, сотруднику культурного фонда Отечества, не пристало. Не обижайтесь, милая.

— Да что, Елизавета Павловна. Я понимаю. Мне пока до сотрудника очень далеко, учиться и учиться.

— Вы умница, что понимаете.

— У нас же сейчас упор на краеведение. Если история — то феодализм и первобытный коммунизм.

— Какой коммунизм?

— Первобытный. Это сейчас.

— Евфросинья Васильевна, а я и не знала, как называется это время. Первобытный? В точку.

— Да, поэтому много проблем. В антирелигиозных музеях сокращение наглядности обедняет экспозицию, а многочисленность материала привлекает верующих. Нужно искать золотую середину.

— В этой ситуации она невозможна, надеюсь, вы понимаете? Здесь или да, или нет.

— Наверное. Краеведческий музей — самое больное место. Разнобой экспонатов, мало марксисткой мысли, чрезмерно большой уклон в географический материал и совсем мало классовый борьбы.

— Ну, почему? Можно обострить противоречия между зайцем и волком. Вот вам и классовая борьба в краеведческом музее, — рассмеялись. — Джунгли — тиграм, лес — медведям, болота — лягушкам. Главное — распределить и закрепить декретами. Вы посмотрите книги, а я чайник поставлю, — она открыла дверь и лицом к лицу столкнулась с женщиной, которая стояла в коридоре. — Подслушиваете, Евдокия?

— Какое мне дело до вас? Помыть полы хочу, натоптали, ходят, грязь носят, — недовольно сморщилась, от чего лицо её стало похоже на печёное яблоко. Она попыталась заглянуть в комнату, чтобы рассмотреть Фросю, но Елизавета Павловна закрыла дверь.

— Соседка. Постоянно подслушивает. То, что у меня забрали мою комнату — её заслуга.

— А вы зря говорите так, она ведь может всё это истолковать и доложить куда следует?

— Фросенька, посмотрите, книги подготовила, по искусству, а я все-таки за чаем.

На столе лежали книги, четыре тома. «История живописи». Автор Александр Николаевич Бенуа. 1912 год. Фрося открыла и... Отвлёк её звон чашек.

— Зачиталась? Это первое исследование мировой живописи русским искусствоведом. Александр Николаевич работал над книгой более десяти лет.

— Елизавета Павловна, я не могу это взять. Это очень дорогое издание.

— Не спорьте, вам нужнее. И учтите, я дарю не музейщику, я дарю человеку, который жизнь положит на сохранение для Отечества нашего этого культурного пласта, который мы унаследовали. Не разбазарит, не загубит равнодушием, не уничтожит из политических настроений.

— Спасибо. До слёз, правда. Я буду стараться. Обещаю.

— Ну и хорошо.

— Я возьму пока только первую книгу. Комната проходная, буду носить с собой и читать.

— Так и сделаем. Заходи почаще.

— Если только вечером, а там и отдыхать вам нужно.

— Да отдохну, спешить мне некуда. Как тебе живётся в общежитии?

— Хорошо, я там только сплю.

— А соседи?

— Хорошие.

— Что-то голос твой о другом. Обижают?

— Они просто другие. Из Москвы. Фанаберии[1] много, а я простая, деревенская. Да мне с ними детей не крестить. Сплю нормально, питаюсь в столовой. Крысы вот только...

— Я бы тебя к себе, но видишь, если только из книг мастерить ложе.

— Из книг не надо. Не усну.

В коридоре столкнулась с соседкой. Та усиленно подметала сор у входной двери.

— Дырку протрёте, — Фрося попыталась обойти её.

— Не твоя печаль. Ты, я вижу, девка простая, наша, пролетарская. Откудова будешь?

— Из Византии.

Почему так ответила, и сама не поняла.

— Где эта твоя Византия? — шмыгнула взглядом, словно платок попыталась сорвать. Фрося завязала платок потуже:

— Далёко, не добраться пешком.

— Так сейчас паровозы бегают.

— Туда не бегают.

— А ты зачем, пролетарская девка, да ещё из глуши своей Византии, ходишь к этой старорежимной барыньке? Чему доброму она тебя научит? Ещё и книжки берёшь. Гляди, девка.

— Куда глядеть?

— Наперёд гляди. Я тебя по доброте душевной предупреждаю.

— Спасибочки, тётенька! Обязательно погляжу.

Комната в общежитии была пуста. В полутёмном коридоре тоже пусто, и у умывальника никакой очереди, лишь за дверями одной из комнат слышался громкий разговор и звуки фокстрота. Она умылась, вернулась в свою комнату и улеглась в постель. Спать хотелось, но то ли вода холодная её взбодрила, то ли это голоса и музыка становились всё громче, сон не шёл. Она стала вспоминать этот день — столько всего за день случилось. В Сычёвке и за год не увидишь и не узнаешь. Включила свет, открыла книгу, да свет лампы под потолком тусклый, не различить ничего. Незаметно для себя задремала. Разбудил её стук, громкий шёпот.

— Ой, Евфросинья Васильевна, вы уж простите, голубушка, что разбудила. Да и вам что спать? Из деревни своей вырвались, поди, в вашей глубинке ни ресторанов, ни кинематографа.

— Да я на курсы приехала, учиться, а не веселиться.

— Ну, это вы напрасно. Мы сегодня собрались у девчат из Рязани, те блондиночки, слева сидят. Пришли молодые люди, их знакомцы. Так душевно посидели и даже танцевали. Я заходила в комнату за вами, но вы поздно сегодня. Наверное, кавалера себе завели?

— А, кроме кавалеров, у вас никаких дел быть не может?

— Ох и серьёзная вы девушка, Евфросинья Васильевна. Шуток совсем не принимаете. Думала, подружимся, — Раиса Григорьевна сняла пальто и платок и присела к столу. Запах вина и одеколона прогнал сон.

— А где же ваша подруга?

— Ох, и не знаю, как сказать вам. Она у родственников осталась, невыносимо ей в этих условиях. Муж у неё очень важный человек в Москве, партиец высокого ранга. Квартира огромная, служанка, ну как ей тут? В этой нищете.

— Как же у партийца высокого ранга служанка? Это же эксплуатация труда.

— Вы, Фрося, с неба свалились? Уж простите, что я к вам по-простому. У жён партийцев есть прислуга. Я-то простая, не смотрите, что с Аглаей, просто вместе приехали, муж её приставил, не бросать одну, — замолчала, поняла, что сболтнула лишнее. Фрося ничего не ответила, не хотелось ей обсуждать тему равноправия при новой власти. — Аглая у родственников.

— Да мне какое дело, Раиса Григорьевна.

— Да брось ты кочевряжиться. Вижу, что ты простая, наша.

— Это какая ваша?

— Ну, не из бывших. Ты держись меня. Тут такая каша заваривается. Со мной не пропадёшь.

Фрося поймала себя на мысли, что второй раз за день её считают своей, но от этого ей так худо.

— Вы меня простите, Раиса, спать очень хочется, день такой.

— А вы откуда знаете Ивана Платоновича?

[1] Фанаберия – высокомерие, чванство.

— А я его не знаю.

— Ну, не лукавьте, он у вас про фрески спрашивал в Полоцке.

— Ну, так это разве знаю? Просто спросил. В начале лекции знакомились, спрашивал, кому что интересно. Вот он и запомнил.

— Ну, не хотите, не говорите, я думала, к вам со всей душой.

— Давайте спать, Раиса, опаздывать не хочется. А ещё до столовой добежать.

— Можем тут чаю попить. У меня сыр и калач, поделюсь.

— Вы бы не носили сюда еду. Крыса здесь. Видели?

— Делов-то, они сейчас кругом. Не зря в Эрмитаже котов целый штат. Хотела бы я быть кошкой в Эрмитаже. Паёк, дворец, коты вокруг, мебель царская. Не жизнь — красота, — хихикнула. — Спокойной ночи, — Раиса улеглась, заскрипела кровать её. Фрося представила Раису — рыжая крыса в зале картин Боттичелли. — Всё-таки странный этот Иван Платонович. Речи такие ведёт контрреволюционные. Фрося, спите? Ну-ну...

Фрося сжалась в комок под своим одеялом. Иван Платонович. Почему она про него? И поняла, ей страшно, страшно оттого, что сама себе боялась признаться, что нравится он ей. Голос его нравится, как говорит, как ходит, чуть наклонив голову вперёд, как улыбается краешками губ, почти незаметно. Неужели она влюбилась? Как понять? Ведь таких чувств она никогда раньше не испытывала. Конечно, в Сычёвке были у неё ухажёры, но дальше калитки никого не пускала, помнила бабушкины слова, что доступная девка нужна для утех, семью с такой создавать негоже. А с ним? Остаться вдвоём? Страшно до дрожи. Она любит. Его Боттичели, его мадонну и даже Савонароллу любит, потому что из его уст. И глаза его. Смотрит, а у Фроси сердце ухает. И то, что сравнил её с княгиней какой-то на портрете. И смешно, и волнительно. Мечтала ли Фрося о семье? Всё её время работа занимала. Уж и не думала, что может вот так, как девчонка, влюбиться. Да где? В Ленинграде. Приехала всего-то на месяц учиться, а сама? Не хочу учиться, а хочу жениться. Вот потеха. Она закрыла глаза и представила Ивана Платоновича. Он что-то говорил про живопись, про Сандро Боттичелли, и под его тихий голос уснула. Даже громкий храп Раисы Григорьевны перестал мешать. Всю ночь просыпалась. Запах винного перегара, храп, бормотание. Еле дождалась утра, а под утро вдруг уснула и увидела сон. Зал Эрмитажа, Иван Платонович что-то рассказывает, и вдруг — рыжая крыса за его спиной подбиралась к картине Боттичелли «Поклонение волхвов». Фрося пытается закричать, а голоса нет. Он не слышит, продолжает говорить, говорить. Фрося снимает с ноги валенок и швыряет в крысу, но та в последний момент бросается на Ивана Платоновича. И тут Фрося кричит, кричит по-настоящему, да так, что просыпается.

— Ты что орёшь, оглашенная! — сонная Раиса Григорьевна приподнимается, потирает глаза, смотрит на часы. — А, молодец! Подъём. Снилось что?

— Не помню. Так, чепуха какая-то.

— Ну-ну. Сны под утро сбываются.

Глава 14. «ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ»

Иван Платонович не спал почти месяц. Просыпался среди ночи, пытался читать, курил, бродил по комнате. Мысли о коллекции картин не давали покоя. Он понимал, что силы неравны, и отстоять эти шедевры будет очень сложно, если не сказать точнее — невозможно. Как-то он задержался допоздна, оформлял картину Ван Дэйка на реставрацию, вышел поздней ночью. И дежурный охранник удивлённо глянул:

— Заработались совсем. Не за вами? — пошутил, а у Ивана Платоновича холодный пот между лопаток. Прямо ко входу — воронок. Оттуда мужчина в сером:

— Документы! — посмотрел внимательно на Ивана Платоновича: — Что так поздно?

— Вернее, рано, — заставил себя улыбнуться. — Работал.

— Это похвально. Ступайте, Иван Платонович. Не за вами.

Оцепенение и ужас сковали всё тело. Откуда он знает моё имя? Ах да, документы. Он ведь посмотрел. Господи, во что я превратился. Животный страх. Завернул за угол, прижался к стене. На этот раз приехали не за людьми, из Эрмитажа вынесли картину. Он почти бежал домой по пустым улицам. Негодование, беспомощность, отчаяние. Что делать? Как жить дальше? Вместо Рубенса трактор? Да, они нужны, в стране голод. Но Екатерина покупала картины вопреки всему, чтобы поднять престиж России, а мы — посмешище для всего мира — продаём за бесценок шедевры. Господи! Утром почти бегом в Эрмитаж. Пошёл, замирая, в зал, где должно было висеть «Поклонение волхвов». А там — пустая стена и табличка: «Картина снята для реставрации». Всё. Ощущение невосполнимой утраты охватило, наверное, такая же боль была, когда ушёл отец. Отца не вернёшь, он принял это, как должное. Рано или поздно — все уходят из

этого бренного мира. Но Боттичелли? Просто продали. Мрачное отчаяние, казалось, поселилось внутри каким-то чёрным комком. Хотелось заплакать, как в детстве, прокричаться, топать ногами. Но силы покинули его. Он пошёл в свой кабинет, по пути встретил Анну Леонтьевну, сотрудницу сектора Востока. Глаза её были красными от слёз.

— Анна?

— Да. Боттичелли. Приходил Зиварт из «Антиквариата», говорил, что победит мировая революция, и тогда всё вернётся к нам бесплатно.

— Бред, Анна, бред! Почему он не продаёт свои бездарные литографии? Ты в курсе, что цена занижается? Чтобы продать наверняка.

— Тише, Иван Платонович. Вокруг уши. Лилию Андреевну вчера забрали. Чистка наших рядов. У неё ведь муж — полковник, из бывших.

— Ну, тогда я следующий. Мой отец священник, а это — красная тряпка для быка.

— Иван Платонович, ну какая вы красная тряпка.

— Это всего лишь оборот речи.

— Я вас умоляю. Если заберут, мы пропали. Растащат всё. Вы слышали, что Легран поручил Орбели написать письмо Сталину?

— Нет.

— «Антиквариат» требует выделить голландцев, торопит. Причём им нужны не только картины, но и мебель, серебро. Легран ответил, что это невозможно. Всё в экспозиции. Можно выдать эквиваленты. А там заменить чем-то попроще.

— Аппетиты растут. И что письмо?

— Передали через Енукидзе. Сталин ответил, что будет произведена проверка, и если заявки «Антиквариата» необоснованны — мой сектор Востока не тронут. Надеюсь.

— Легран умница, подаёт роскошь как доказательство эксплуатации, кстати, пишет книгу «Социалистическая реконструкция Эрмитажа».

— В этом что-то есть. Наступят времена, когда каждый сможет побывать, увидеть, восхититься. Лозунги светлые.

— Анна Леонтьевна! Вы неисправимая оптимистка! Какой ценой только.

— Будем верить, Иван Платонович.

— Будем спасать по мере сил, Анна Леонтьевна.

Глава 15. «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА»

Евфросинья погрузилась в состояние непроходящей радости. Хорошо, кроме Ивана Платоновича, лекции читали и другие сотрудники Эрмитажа. Но если приходил Иван Платонович, она замирала и боялась поднять глаза, строчила, как пулемётчик, в своей тетради, боясь пропустить хоть слово. Стеша мешала, шептала, какой он грустный в последнее время, даже похудел, и то, что пуговица на его пиджаке вот-вот оторвётся, и то, что он иногда задумчиво смотрит в окно, словно пытается что-то увидеть.

— Боттичелли. Он видит окно на портретах Боттичелли, — прошептала Фрося.

— Откуда знаешь?

— Потом, не мешай.

А он продолжал:

— Хочу поработать сегодня в качестве экскурсовода. Мы сейчас пойдём к самому большому полотну Рембрандта. «Возвращение блудного сына». Говорить о картине и не видеть её? У вас есть такая возможность — увидеть великого Рембрандта. И это счастье, поверьте.

Они прошли по анфиладам комнат и вошли в зал Рембрандта, остановились. Иван Платонович снова помолодел, казалось, у него выросли крылья, и он каким-то чудесным образом переместился внутрь полотна и стал соучастником того действа. Седьмым.

— Итак, «Возвращение блудного сына». Что вы видите? Евфросинья Васильевна?

— Я? — залилась краской.

— Вы. Не бойтесь, представьте, Рембрандт писал для вас, и для вас, товарищ Раиса, и для вас, Степанида. И для меня. Он рассказывает сейчас. Что вы слышите, чувствуете?

— Я вижу какого-то каторжника, его долго не было дома. Стриженная голова, оборван весь, — это Раиса Григорьевна сделала шаг вперёд.

— Его ждали. Больше всех отец ждал. Это ведь его отец? — Фрося смутилась.

— Его, — Иван Платонович улыбнулся. — Вы читали в Евангелии притчу о блудном сыне?

— Нет, — снова залилась краской. — Мне бабушка рассказывала, уже и не помню подробно.

— Да, это Евангелие. От Луки. Я говорил, что искусство, настоящее, черпает сюжеты из него. Что бы мы ни читали и ни слушали, всё уже прописано давным-давно. Книга книг. Когда Марк Твен умирал, он попросил у детей книгу. Они озадаченно замерли, ведь у писателя была огромная библиотека. Мне нужна книга книг — Евангелие, всё остальное — лишь послесловие. Притча об отшатнувшихся от Бога — о человечестве. История этого ухода давняя, ещё от Адама. Наверное, это и о нашей сегодняшней России. Иначе как расценивать поруганные храмы, где музеи атеизма? Растерзанные иконостасы? Надеюсь, она вернётся, как этот блудный сын, похожая на этого каторжника, босая, нищая, обесчещенная, поруганная всеми и вся, вернётся.

«Господи, что он говорит! — Фрося сжалась, посмотрела на него впервые за день, с мольбой. — Ну услышьте меня, услышь! Нельзя! Нельзя такое говорить. Крысы, крысы в Эрмитаже, и коты не спасут, увы». Он увидел её глаза, замер, словно прочёл мысли, затем продолжил:

— Итак, притча о блудном сыне. Напомню.

— Вот только этого слюнтяйства религиозного не надо. Давайте по существу, — это Раиса, понятно, кто же ещё?

— По существу? Ну, это по отношению к полотну Рембрандта как будто оставить только раму вместо картины. И всё. Мне продолжать?

Зависла тишина. И только Фрося пролепетала скороговоркой:

— Конечно. Теперь искусство принадлежит народу. Вместе с притчами, я думаю.

Он снова улыбнулся, посветлел.

— Вы правы, Евфросинья Васильевна. Надеюсь, вместе с притчами. Продолжаю. Прежде чем говорить о картине, стоит вспомнить жизнь художника. Она была непростой. Я всякий раз думаю, что гении рождаются не вовремя. Их время всегда к ним жестоко, зато они остаются в веках. Так и с Рембрандтом. Он знавал хорошие времена, богатые заказы. Очень красивый, роскошный дом, любимая жена Саския. Но умирали дети друг за другом, не достигая и года, и только один малыш, сын Титос, выжил. Умерла Саския, затем он пережил сына. Появилась новая женщина, и дочь родилась. Но вместе с новой семьей пришла нищета. Всё ушло с молотка. Ему оставалось совсем немного. Понимал ли он это? Наверное, да. Иначе почему столько боли в его последней картине? Ван Гог сказал, что надо несколько раз умирать, чтобы написать такое. Он, как блудный сын, шёл к Богу. Мало кто знает, но у него есть ещё один «Блудный сын». В молодости он изобразил себя на пирушке в таверне. Рядом куртизанка. Её он писал со своей жены Саскии. Это было время безумного расточительства. В 1636 году он пишет офорт, совсем другой, отец бежит к сыну по ступеням лестницы, роняя трость. Спустя 33 года — новое видение. Пришло время платить по счетам. Саския и сын в могиле. Он одинок, и пишет это полотно не по заказу, чтобы заработать, а по велению сердца. Посмотрите, какие здесь густые и тёмные краски. Выплаканные от слёз глаза. Фигура отца — словно арка, дверь ко спасению.

— Почему мы не видим глаза сына?

— Мы за него спокойны. Руки отца излучают спокойствие и прощение.

— Иван Платонович, почему у отца руки разные? — спросил кто-то, Фрося и не поняла, кто. Она тоже была там, в пространстве картины, рядом с Иваном Платоновичем, видела этого несчастного, припавшего к отцу, видела брата в роскошном красном плаще, который вообще не понимал, что происходит, переживая глубокую обиду: «Я был рядом, я не уходил, почему ему столько чести?»

— Это хорошо, что вы увидели. Руки действительно отличаются. Одна утончённая, словно женская, другая грубоватая, мужская. Это загадка. Но мы можем догадаться, о чём думал Рембрандт.

— Наверное о том, что отец воплощает здесь всю любовь, и материнскую, и отцовскую?

— Возможно.

— Иван Платонович, а сын? Почему только спина? Ведь можно было хотя бы профиль? Насколько было бы интереснее видеть и его лицо.

— Мне кажется, с ним всё понятно. Он уже пришёл к отцу. А вот следующие? Наверное, это мы с вами в этой очереди к покаянию?

— Ну, кому-то каяться, а мне точно не за что, — это был голос Раисы. — И вообще, что за печаль? Нагулялся, навеселился, а как стал со свиньями рожки жрать, сразу к батьке прибежал.

— Да, вы по-своему правы. Видите, человек с дудкой и со свиньями? Он напоминает как раз об этом. Но если бы ваша версия, товарищ Раиса, была главной, Рембрандт не писал бы этого человека так далеко от светового пятна, в тени. Главные фигуры — это отец и сыновья. И он выделяет их светом. Удивительно, но центр картины у края. При этом соблюдается закон золотого сечения. Видите?

— Вижу. Как не видеть?

— Потрёпанная одежда, воротник — свидетельство былой роскоши. Туфли избиты жизненными дорогами, причём одна упала, видите? Когда он стал на колени, он потерял туфлю. Кажется, она только свалилась с ноги и сохранила её тепло...

Фросе, словно во сне, захотелось поднять эту несчастную туфлю, но сын в ней не нуждался, он обрёл небо, какие уж тут туфли...

— Увы, на этой высокой ноте покаяния я прощаюсь с вами. Цикл своих лекций закончил, надеюсь, они были полезны, — он приподнялся на цыпочки, словно попытался увидеть, что там, за ними, их музеи — маленькие и большие, хранящие в своих стенах шедевры и экспонаты попроще. — Запомните одно, вам доверили самое ценное, что может сделать человек — его творения. Мы созданы по образу и подобию творца этого мира. Как хотите его называйте. Но возможность творить — главное отличие человека от обезьяны, поэтому родство тут очень сомнительно. Хотя иногда хочется в это верить. Простите. Я не об этом. Я о вашей миссии, именно миссии — сохранить для нашего народа, для нашего Отечества. Не разбазарить, просмотреть, уничтожить беспечностью, а сохранить. И пусть ваши дети, внуки, правнуки будут гордиться наследием великой Екатерины и не только её, не жалевшей ничего для этого.

Глава 16. КАК ТАТЬЯНА ЛАРИНА

У Фроси всё оборвалось. «Мы больше не увидимся, не встретимся. Как же так?» Она подошла к картине и полными слёз глазами рассматривала багряные мазки на плаще.

— Евфросинья Васильевна, — она обернулась. — Хочу пожелать вам всего хорошего. Думаю, ваш музей в надёжных руках. Не плачьте, у вас всё получится, я знаю.

— Я вас прошу, Иван Платонович, будьте осторожнее в своих речах, пожалуйста. Ведь Эрмитажу вы тоже очень нужны.

Он протянул руку, пожал её ладошку, на секунду задержал в своей.

— Благодарю вас, княгиня Оболенская, — и стремительно ушёл.

К ней подбежала Стеша:

— Ура, на сегодня всё. Пойдём гулять? А чтой-то он тебе жал руку? Никому не жал, а тебе жал. Я подозревала, что ты в него втюрилась, а теперь уж точно увидела. Глазищи у тебе были, когда ты на него смотрела. Ещё и плачешь. Плачешь-то чего? Ясно дело, в Сычёвку он не поедет, да и тебе Ленинграда не видать. Каждый сверчок знай свой шесток. Я, например, рада, что домой еду. Надоело, хочется щей домашних, еда эта столовская поперёк горла.

— Тише, тише, Стеша. Не надо так тараторить...

— Ты чего? Словно мумия в египетской коллекции? Просыпайся. Пойдём.

— Я не пойду. Хочу побыть в Эрмитаже. Хочу ещё раз всё посмотреть.

— Ну, чудачка, курсов ей мало. Смотреть пойдёт.

— Не сердись, Стеша.

— Да вот ещё! Сердиться мне некогда. Там девчонки из Рязани приглашают. Не передумала? А то пойдём. Мы сбрасываемся, устроим прощальный ужин. Завтра последний день, а вечером по домам. Некогда будет.

— Нет, я не хочу никаких вечеринок. Тем более, вы домой, а мне завтра в Этнографический. Ещё неделя в Ленинграде.

— Странная ты, Фрося. Я-то думала, что мы с тобой подружки, а ты...

— Подружки, Стеша! Адресами обменялись, писать будем друг дружке. В гости приезжай, и я к тебе. Обязательно. Но сейчас мне надо побыть одной. Переварить всё это. Не знаю, как объяснить.

— Да поняла я, Евфросинья Васильевна. Давай. До завтра.

Ну вот, обидела Стешу. А по-другому как? Сейчас невыносимо слушать эту тараторку. Не расплескать бы вот это богатство, которое она обрела. Записать. Саския, Рембрандт, Титос. В комнату свою ей не хотелось, опять шум, и вдруг поняла — поедет к Елизавете Павловне. Только она поймёт её мысли и чувства.

До Гороховой доехала быстро, в голове рассказ Ивана Платоновича. Россия — блудный сын, отшатнувшийся от Бога. Как же верно он сказал это! Что произошло? Почему? Она вспомнила Игната Суркова, пароход «Головачёв», встречу святой Евфросиньи. Когда к Днепру подходили города и веси, чтобы помолиться. И сколько таких почитаемых святых в России? Куда делось это почитание? Откуда эти люди, разрушающие всё вокруг. Мы наш, мы новый мир построим. Да, построим, но зачем крушить храмы? Ведь ни одна революция не призывала к этому. Почему в России надо разрушить веру? У неё пошла кругом голова, и она чуть не пропустила свою остановку, выскочила в последний момент, чуть не сбив с ног какого-то верзилу, стоящего на подножке.

Елизавета Павловна, на счастье, была дома и очень обрадовалась Фросе.

— Какая молодец, что пришла.

— Завтра — последний день в Эрмитаже, — присела на краешек стула и вдруг расплакалась, да так горько, что Елизавета Павловна испуганно всплеснула руками. — Елизавета Павловна, я к вам по делу очень важному. Я влюбилась. Жить не могу, дышать не могу без него. И что делать — не знаю. Помогите.

— Глупышка. Чем помочь могу?

— Совет хочу.

В кого влюбилась-то? В Рубенса или Ван Дейка? Боттичелли?

— Да, шуточки вам... В Ивана Платоновича.

— Слышала, слышала, лектор ваш? В чём же проблема. Молодой?

— Да нет, не очень. Только разве в этом дело? Я же не могу рядом с ним находиться. Краснею, бледнею. Глаз поднять не могу. И без него не могу. Стоит перед глазами и днём и ночью, как наваждение. Слушала бы день и ночь, не ела бы, не спала.

— Ой, милая. Так ведь может быть, что он женат?

— Да вряд ли, пуговица на пиджаке который день болтается на одной нитке. У какой жены муж был бы такой неприбранный?

— Жёны разные бывают, но пуговица — это аргумент. Да, не поспоришь.

— Я смотрю на эту пуговицу, и так мне хочется её пришить.

— Не торопись с пуговицей, — улыбнулась.

— Так курсы заканчиваются. Всего-то неделя. Уеду, а он останется. И шансов-то у нас никаких. Он в Сычёвку никогда не поедет, а я в Питере остаться не могу. У меня музей, там ваза и ещё много всего. Надо привести в порядок, найти место. Без меня разгребут всё. Знаю, что надо стеной стоять и беречь. Я ж совсем другая отсюда уеду.

— Ну, это хорошо. А ты письмо ему напиши.

— Как Татьяна Ларина?

— Ну, как Татьяна Ларина. Признайся в своих чувствах. Если этого не сделаешь, будешь мучиться, а так какая-то надежда появится. Вдруг и ты ему небезразлична? Он же сказал, что ты похожа на княгиню Оболенскую с портрета.

— Ой, вы это помните?

— Конечно помню. Более того, портрет этот нашла. Ты и правда на неё похожа. Глаза, шея, посадка головы.

Фрося передёрнула плечами и оглянулась в зеркало. На неё смотрела совсем незнакомая девушка с гордо поднятой головой на высокой шее. Она поправила косу, собранную на затылке, царственным жестом отвела руку и помахала Фросе.

— Ну вот видишь? У тебя когда-то в роду были князья?

— Ой, да не шутите. В моей деревне Кожаново князья?

— Да и правда, Русь наша отличалась всегда: крестьянки — как царицы, а царицы — как крестьянки. Не помню, кто сказал.

— Да уж, царицы — как крестьянки? Как так?

— Слово-то какое — христиане. Вот и секрет сходства. Давай-ка чайку попьём, горячего, что-то я мёрзну. Бенуа читаешь?

— Некогда пока. Поздно возвращаюсь, темно при этой тусклой лампе.

— Забирай остальные три тома, будешь изучать у себя. У Паниных-Мещерских коллекция картин была очень достойной.

— Всё пока в запаснике стоит. Что-то в Смоленск забрали. Приеду, буду разбираться со всем. У меня в Сычёвке такая сумятица: и картины, и мебель, и посуда, и предметы быта из старины, и утварь крестьянская, и дорогая посуда усадьбы. По-хорошему, надо всё распределить по залам, — рассмеялась. — По комнатам. Места у нас мало, вот ещё проблема. Я тут размахнулась, как в Эрмитаже — залы.

— Что запомнилось в Эрмитаже?

— Иван Платонович сегодня про Рембрандта говорил. «Возвращение блудного сына». Вы знаете, никогда не думала, что за картиной может вся жизнь поместиться. За взглядом, за ладонью, за туфлей, упавшей с ноги. Он ведь так об этой картине рассказывал. И Рембрандта до слёз жаль. Такой несчастный.

— Да. Счастливого художника найти весьма сложно, если это не придворный портретист, который ничего стоящего не оставил. Настоящий художник всегда через боль.

— Ван Гог сказал про Рембрандта: сколько раз надо умирать, чтобы вот так писать?

— Ван Гог прав. Боль открывает глаза.

— Елизавета Павловна, а знаете что? Приезжайте вы на лето к нам в Сычёвку. Богатства у меня никакого, но свежего воздуха — много, парное молоко у соседей, и солнце, и небо, и цветы. Отдохнёте. У нас реки какие в Сычёвке! Лосмина и Яблонька впадают в Вазузу, такая красота. А Лосмина наша — вообще родилась рядом с Днепром, истоки рядом совсем. Но Днепр — богатырь, а Лосмина — малышка, но шустрая, бежит

к Вазузе, а Вазуза к Волге, так и в итоге две великие реки недалеко от нас. И маленькая Яблонька тоже частичка огромной Волги. Я как-то на берегу задумалась про это. Как всё мудро устроено на земле.

— А имена какие! Яблонька.

— Да! Яблонька. Вокруг луга! Летом — благодать. Елизавета Павловна, простите, но вы бледная такая и худенькая. Приезжайте! У меня зарплата будет директорская, продержимся. Приедете? Вы столько знаете, вдруг захотите остаться? Будете в музее работать. Может, и в Ленинград не захочется возвращаться?

— Что вы, милая Евфросинья Васильевна. Здесь вся моя жизнь. А вдруг отец вернётся? Постучит в дверь, а квартира чужая, библиотеки нет, меня нет, — заплакала, да так горько. Плечики задрожали, словно у ребёнка.

— Простите, милая моя, — обняла. — Простите, вечно я говорю, не подумав заранее, довела вас до слёз. Но вы всё равно приезжайте.

— Стоит мне уехать, мою комнату сразу займут. Желающих много, ты же знаешь. Но спаси Господи тебя, моя дорогая. Не думала, что так бывает. Ведь мы ещё месяц назад не знали о существовании друг друга.

— И я не думала, что встреча на улице может подарить такого человека.

— Это Господь. Он управляет всем. Значит, наша встреча очень нужна, и тебе, и мне.

— Ну вот, значит Господь управит, и приедете, если захотите.

Потом они пили чай, долго ещё говорили о картинах Эрмитажа, о Иване Платоновиче. Попрощались тепло, и Фрося, забрав три тома Бенуа, отправилась в своё временное жилище.

Глава 17. ПИСЬМО ФРОСИ

В комнате — тишина. Товарища Раисы не было, ну и хорошо. Она вырвала листочек из тетради и села у стола. Вспомнилось письмо Татьяны. Иван Платонович вряд ли Онегин, да и она не Татьяна, но многое в письме созвучно. Ему в Сычёвке всё будет скучно, и то, что ничем они не блестят и будут рады простодушно — это так. Быть верной супругой и добродетельной матерью? Она пока и не думала об этом, но быть матерью его детей? Это же такое счастье. Она часто примеряла детей к своим деревенским ухажёрам, и ей не хотелось этого сходства. Писать пушкинскими строчками было смешно и наивно. Поэтому она написала очень просто:

«Иван Платонович!

Пишет Вам Евфросинья Васильевна. Могла бы долго придумывать причину этого послания, рассказывать, как я вам благодарна за ваши лекции. Это было для меня сродни чуду. Вы открыли дверь в мир искусства. Но не совсем об этом письмо. Я вас люблю. Эта любовь с первого взгляда. Я не верила, что так бывает. Но с тех пор, как мы с вами встретились в первый раз в Эрмитаже, я без вас ни секунды, ни минуты, ни часа, ни дня не живу. Если не вижу вас, просто слышу ваш голос. Вы всегда со мной. Я вижу полуоторванную пуговицу на вашем пиджаке, и мне очень хочется её пришить. У меня прямо руки чешутся, как хочется. Но понимаю, не для меня эта пуговица. Знаю, что ответить вам нечего и что у нас слишком разные судьбы. Я через неделю уеду на Смоленщину, вы останетесь в Ленинграде, будете бороться за каждую картину, и ни на что вы Эрмитаж не променяете — ни на наши поля, ни на наш свежий воздух, ни на наши речки. Всё это у вас есть, причём в обрамлении позолоченных рам. И поля, и реки, и свежий воздух. И люди. О чём говорить, если даже меня вам будет напоминать портрет княгини. Это, наверное, гораздо лучше. Куда мне до неё, простой деревенской девчонке? Наш музей в Сычёвке — маленький, мне предстоит очень много работы — всё привести в порядок и сохранить. Коллекция из усадьбы Паниных-Мещерских просто свалена в запасниках. Слово красивое. На самом деле, это просто большой сарай во дворе музея. Поэтому предстоит мне сменить стены Эрмитажа на очень незамысловатое окружение. Но люди у нас замечательные. Добрые и простые. Я не брошу свои родные места и своё дело, но иногда мне кажется, что если бы вы позвали, я бы чисто по-женски всё забыла, всё бросила. Но чувство долга — кто, если не я? Так меня воспитали. Поэтому пишу это письмо без всякой надежды на ответ, просто хочу, чтобы вы знали, что на свете есть человек, который любит вас, думает о вас, неумело молиться о вас. И втайне, в глубине сердца надеется, что мы обязательно встретимся. Обязательно. Надо только очень захотеть.

Евфросинья Буркина

Ленинград

Декабрь 1933 года»

Утром ещё раз перечитала письмо. Всё показалось сумбурным и глупым, но она понимала — сейчас или никогда. Запечатала в конверт, подписала и помчалась в Эрмитаж. В последний день лекций не было, надо было поставить печать на командировочном бланке, и она зашла в тот же кабинет, где была месяц назад. За этот месяц в её жизни столько всего случилось, больше, чем за все предыдущие двадцать семь лет. Агния поставила печать.

— Вы закончили занятия?

— Да.

— И как, понравилось?

Фрося не понимала, зачем эти банальные вопросы, у неё было столько радости на душе, а понадобилось лишь одно слово — понравилось. Да и Агнию не очень интересовали её переживания, она то и дело поглядывала в маленькое зеркальце на столе, пытаясь поправить выбившуюся прядь из причёски.

— Как может не понравиться? Столько нового узнали. А можно увидеть Ивана Платоновича?

— Ивана Платоновича? — удивлённо приподняла голову, оторвавшись от зеркала. — А зачем он вам?

— Я хотела уточнить один вопрос по поводу составления каталога.

— Он у себя, оформляет документы на реставрацию полотна Ван Дейка, поспешите, ему в «Антиквариат» нужно, он торопился. Возможно, и не застанете.

Фрося выскочила из кабинета и помчалась по коридору к выходу, решила, что так вернее. И правильно. Иван Платонович в распахнутом пальто уже открывал входную дверь. Ему было неудобно, дверь тяжёлая, в другой руке папка с документами. Фрося подоспела вовремя, придержала дверь.

— Ефросинья Васильевна? Какими судьбами?

— Я печать ставила на командировочном. И вас хотела увидеть. Завтра у меня ещё курсы в Этнографическом, но там всего неделя.

Она внимательно посмотрела на его пиджак. Пуговица была пришита. Это была другая пуговица. Та скорее всего оторвалась. Эта новая была чуть больше, и нитки отличались по цвету. Она поняла, что нет никакой жены, и пришивал он сам, улыбнулась. Он перехватил её взгляд, улыбнулся в ответ:

— Заметно?

— Что? — она посмотрела на него, и щёки вспыхнули.

— Что неродная?

— Кто неродная?

— Не кто, а что. Пуговица. Родную потерял.

— Вы сами пришивали?

— Сам. Пришлось пришивать, что придётся.

— Плохо терять родную.

— Очень плохо. Но так бывает. Бог с ней, с этой пуговицей. Тут другое отрывается. Гораздо больнее и необратимее.

Она замерла, захотелось вдруг поверить, что он говорил о их разлуке. Так ли это? Может, он просто не хотел расставаться с полотном Ван Дейка?

— Кстати, у меня для вас письмо.

— Письмо? Простите, у меня совсем нет времени. Бегу в «Антиквариат», надо срочно подать документы на реставрацию. Хочу спасти ещё одну картину.

— Я не займу вашего времени. Просто письмо. Возьмите. Не потеряйте, пожалуйста, как пуговицу. Прочтите.

— Да что вы. Видите? Кладу в карман пиджака. Надёжно.

Он застегнулся, наконец, и та, которую пришил, так и не захотела застёгиваться, петля была чуть мала. Пальцы его суетились, пытались втиснуть её в прокрустово ложе петли, но пуговица не сдавалась, и, наконец, замерли, а потом ловко управились с пуговицами на пальто. Там было всё просто. Победно перехватили папку:

— Держитесь, княгиня Оболенская!

— За что держаться?

Он замер, а потом его пальцы снова расстегнули пуговицу пальто, — ох уж эти пуговицы, — потом дальше, пуговицу на пиджаке, ту, что выше злополучной, потом пуговку на рубашке, и достал серебряный крестик на чёрном шнурке.

— За крест держитесь.

— За крест... У меня нет.

— У каждого есть. Просто многие не хотят об этом помнить и держатся за что попало. Держите.

Он передал ей папку, снял свой крест. Она, замерев от неведомой радости, размотала платок. Ей было неудобно одной рукой, в другой папка с документами на спасение Ван Дейка. Стал надевать крестик, коса, свёрнутая узлом, мешала и,

наконец, не выдержав его настойчивой решительности, упала на спину. Евфросинья не дышала. Крестик наделся, папка вернулась на место, косу она привычно закрутила и прихватила шпильками, которые зацепились за воротник пальто.

— Ничего не говорите.

— А вы? Без креста?

— Зайду в храм, ещё не все закрыты. Куплю. У вас в Сычёвке есть храм? Так я назвал ваше поместье?

— Так. Закрыли.

— У вас в Сычёвке такой же фронт. Сейчас много желающих окончательно разграбить все ценности.

— Спасибо вам.

— Вы уж извините, тороплюсь очень. Вы ведь еще не уезжаете?

— Нет. Я остаюсь. Еще неделя. В Русском музее. Этнография.

— Это очень интересно. Там мраморный зал, розовый, карельский мрамор. Любуйтесь, изучайте, там богатейшая коллекция костюмов. Завидую вам. Пописано сердце по адресу — Русь.

— Это чьи слова?

— Не знаю, вспомнилось. В этом зале так. Точнее не скажешь.

И ушёл, сжимая папку в руке, воин Иван Платонович, русский Дон Кихот, вставший на защиту Ван Дейка.

Глава 18. ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Неделя в этнографическом отделе музея пролетела, как во сне. Она добросовестно изучала документацию, каталоги, коллекции костюмов. Её ничего не трогало. Просто работа. В одном из отделов сотрудники составляли эвакуационные списки, и её попросили помочь собирать ящики рабочему музея Ивану Митрофановичу. Она задала ему вопрос, глупый, как потом решила. Зачем, мол, занимаемся такой рутиной, ведь есть дела и поважнее, какая эвакуация? Он хмыкнул в усы, буркнул:

— Начальству виднее. Мы люди подневольные.

Он был похож на её Митрича, такой же основательный, неторопливый. Так же хмыкал в свои рыжеватые усы, и вокруг глаз собирались морщинки-лучики. Митрич тогда, в её детстве, казался старым, а сейчас посчитала — было ему тогда чуть за пятьдесят. Иван Митрофанович очень обрадовался Фросе. Работа была кропотливая, монотонная. Поговорить любил, а в музее — люди занятые, слушать его некогда.

— Я, Васильевна, родился ещё в прошлом веке, в девятнадцатом, значит.

— В Петербурге?

— Да нет, деревенский я хлопец. А ты откуда будешь?

— Я Смоленская, но из глубинки, Сычёвка. История у Сычёвки нашей из древности. Стояла на пути из варяг в греки. На берегу Вазузы вырубили первые домишки и поселились. Огненное порубежье — войны без конца.

— Ну вот, а ты говоришь, зачем эвакуационные списки. Если что — спасать будем. Я ведь тоже родился на огненном порубежье. Хорошо ты сказала. Вся земля у нас — огненное порубежье. Не дай Бог такого. Есть такое село — Жировичи, в Белоруссии. За него тоже воевали без конца, ляхи-униаты рвали себе, Россия отвоевывала. Славное место.

— Чем же славное?

— О, то длинный разговор, да не спешим, — он пристукнул молотком по дощечке. — Пиши: номер 156. И в списке отметь: готов ящик. Более пяти веков назад всё и случилось. Мне бабка рассказывала, когда я ещё совсем малым был хлопчиком. В одной хате беда приключилась, потеряли пастушки корову. Боялись без неё домой вяртацца, сама знаешь, что такое корова в хозяйстве.

— Как же, выросла при корове.

— Щёки ты, конечно, румяные растеряла, но поймёшь без разъяснений, как было. Стемнело на улице, пастушки ищут, в лес забрались, плачут, как бы волки не задрали. И себя жалко, а корову ещё пуще. Видят — свет пробивается. Подумали, может костерок кто развёл, всё не так страшно в лесу. Пошли на свет, а там — чудо чудное. На старой груше-дичке икона маленькая, с пол-ладошки. И свет от неё. Подошли, взяли, а она каменная.

— Как каменная?

— Да так, на камне вырезана. Камень — яшма, ясмус величали в древности. Очень твёрдый, трудно поддаётся обработке.

— Откуда знаете про ясмус?

— Да я хоть и числюсь тут рабочим, а тридцать лет в музее мимо не прошли. Если работы нет срочной, с экскурсиями хожу. Слушаю, запоминаю. Так эта яшма-ясмус

использовалась как деньга, ею расплачивались в племенах. Гиппократ, доктор в древней Греции, лечил ей припадки и лихорадку.

— Красивая она?

— О, ещё какая красивая. Все цвета в ней: и зелёный, и красный, и жёлтый. Есть синяя яшма, как нёбушко. Есть пёстрая. Слышал, что пластина из яшмы украшала центральную часть нагрудника святого Петра. Андрей Петрович из исторического отдела рассказывал, яшма была одним из двенадцати камней, превратившихся в основание Ерусалима. Слыхала, что Ерусалим на двенадцати камнях воздвигнут?

— Нет.

— Ну, вот так и было.

— А дальше, про икону?

— Чудотворная она, много случаев исцеления. Сразу церковь срубили на том месте. Теперь целый монастырь.

— Закрыт? Музей там?

— Нет. Не закрыли. Тебе б одни музеи. Один на всю Белоруссию остался. Моляцца там. Ерусалим белорусский, — вздохнул. — Не обижайся. Это я в сердцах.

— Да нет, не обижаюсь. Понимаю. Давно ли были на родине?

— Давно. Нельзя об этом сейчас, но человек я простой, кому нужен? Мамкин брат Владимир там монашествовал. Во время Первой мировой икону эту от немцев увезли в Москву, в храме Василия Блаженного хранилась в подвалах, а после войны забрали назад. Знаешь, как забрали? — хмыкнул в усы.

— Нет, откуда мне знать?

— И не можешь знать, так как дело было весьма тайное. Везли нашу икону в банке с вареньем. Боялись очень, что отберут по дороге. Времена смутные были. Вот так и довезли. Сладость в сладости, — Фрося улыбнулась, чудно-то как. — А мне часто снится дом мой, места красивые.

— Понимаю, я месяц в Ленинграде — и то скучаю.

— Если когда придётся тебе побывать в Жировичах, в монастыре, поклонись за меня, скажи, Иван рвётся всем сердцем, а приехать не может.

— Так поезжайте. Отпуск берите.

— Не могу, жена у меня хворая, оставить никак не могу. А она не доедет.

— Беда.

— Там лестница есть в монастыре. Лестница Понтия Пилата. По такой в Иерусалиме Христос на суд поднимался. Двадцать восемь ступенек. В них мощи святых. Знаешь, что помню из детства? Как с дедом на коленях по ней поднимались.

— Почему на коленях?

— И ты туда же, — махнул рукой, рассердился.

— Не сердитесь на меня, Иван Митрофанович. Не всё знаю.

— Да тут и знать нечего. Мощи святых в ступенях, в маленьких мощевиках. Как же можно ногами ступать? Эх, времена настали. Ты тоже атеистка?

— Я? — хотела признаться, что теперь уже верит в светлое будущее, да крест на груди и слова в уме: «Держись за крест, Евфросинья». — Я православная, крещёная. И крест есть.

— Носишь?

— Ношу.

— Ну и носи, не предавай Господа, он за нас на крест взошёл. А то, что рушат всё вокруг? Не горюй. Бог поругаем не бывает. Это человек может душу свою осквернить. Это правда. Береги её, душу свою, в чистоте.

Глава 19. ПОСЛЕ ЭРМИТАЖА

Это было странно для неё. Она сердилась на себя, заставляла всматриваться, пыталась настроить сердце на радость, ту, которая была в Эрмитаже. Радости не было. Не было ответа на её письмо. Да и какого ответа она ждала? Обратный адрес — Сычёвка. А она в Питере. Но ведь он знает, где её искать. В музее она была с утра до вечера. И ждала, ждала, ждала.

Мимо пролетало столько интересного, она складывала в копилочку памяти — «я подумаю, я переживу это позже» — эти залы на втором этаже, эту мастерскую, где удивительные люди лепили из воска фигуры, обряжали их в старинные сарафаны, душегреи, кафтаны, в рубахи из рыбьей кожи, крапивного волокна. Такое многообразие одежды народов России где ещё увидишь? А жилища? Избы, рубленные из звонкой сосны, юрты из войлока, северные чумы с пасущимися оленями рядом? Глаза у оленя — совсем живые, янтарные, в опушке ресниц. Казалось, вскинет голову — ну-ка, Фрося, Фронюшка, соберись, не раскисай. А молоденькая киргизка в юрте? Словно испуганная лань, вот-вот уронит пиалу с чаем, а старый отец грозно глянет из-

под кустистых седых бровей. Ей захотелось в Сычёвке оформить одну комнату музея, как интерьер старой избы, а другую комнату — как покои богатой усадьбы. Понятно, что контраст будет. Но ведь и в избе всё добротно, продумано, тепло и вкусно. Веками налажено, чтобы жили, любили, чтобы детки рождались, чтобы старики на печке доживали свой век...

Мраморный зал был местом, куда она приходила каждый день, рассматривала горельефы на стенах. Вся жизнь народов России. Как он сказал? Прописано сердце по адресу — Русь. Её любовь к мраморному залу заметила экскурсовод Ксения Андреевна.

— Евфросинья Васильевна, что-то вы к нам зачастили?

— Очень красиво. Розовый мрамор. Где же столько?

— Карелия. Белогорье в Олонецкой губернии. Там горная гряда. Взрывали, чтобы крупные куски получить. Даже железную дорогу подвели, чтобы вывезти.

— Это в каком году?

— В 1895. Государь Александр III решил отдать музею Михайловский дворец с парком. Коллекция была собрана большая. Нужно было разместить. Но не успел. Поэтому указ о создании музея учредил сын его Николай. В центре зала планировали бронзовую статую Александра как дань памяти.

— Этот горельеф бронзовый?

— Нет, времена наступили тяжкие, горельеф лишь покрыт бронзой. Но он всё равно прекрасен.

Евфросинья замерла. Звенящая тишина окутала её. И вдруг свистящий звук, который всё нарастал, всё неотвратимее приближался, а дальше грохот и чёрная мгла накрыла на миг. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела угол мраморного зала, разрушенный фугасной бомбой. Чёрная воронка, куски розового мрамора, копоть и дым. Она, словно во сне, поднялась на второй этаж по уцелевшей лестнице, а там картины, панно, макеты просто свалены на полу. Вместо выставки «Народы Поволжья» — обломки экспонатов, утварь, разрушенная изба, восковая фигура девушка, вернее, то, что от неё осталось, лишь кокошник с ярко-красными бусинами целёхонек, валялся рядом с обгорелым коромыслом...

Она очнулась, взмахнула рукой, словно отгоняла страшную картину. Свет наполнял пространство, солнечные лучи снова падали на мрамор пола, и всё было мирным, радостным, светлым.

— Что с вами? Вы бледная такая. Голова болит?

— Нет, всё в порядке, Ксения Андреевна. Я пойду.

— Идите, голубушка, отдыхайте.

Через несколько дней Евфросинья Васильевна закончила свою учёбу и уехала домой. Ответа на своё письмо она так и не получила. Напрасно в Сычёвке первые несколько месяцев она каждый день подходила к почтовому ящику, напрасно заходила на почту. Болтливая почтальонка Зина сочувственно кивала и явно была автором слухов: «Кавалер музейщице не пишеть, и ленинградская любовь её завяла, как трава в засуху».

Вечерами она открывала книги Бенуа и погружалась в прекрасный мир живописи, словно возвращалась в эти незабываемые дни в Эрмитаже. Александр Бенуа говорил с ней голосом Ивана Платоновича. Никогда в жизни она не читала с таким воодушевлением. Ждала вечера, чтобы остаться одной, открыть книгу и читать, рассматривать прекрасные иллюстрации. Поистине царский подарок ей сделала Елизавета Павловна. Недостаточность её знаний компенсировалась благодаря книгам. Читая Бенуа, Фрося стала всё глубже понимать великую силу искусства. Повседневность древности приближается благодаря мастерству художника. Фрески Древнего Египта были для неё чем-то схематичным, мёртвым, как вековая неизменность этих равнодушных пирамид, но она присмотрелась и увидела в этих профильных поворотах столько стремительного огня, грациозности пропорций, аристократичности лани и неуклюжести бегемота. Неприступная твердыня царственности приблизилась и стала частью Фроси. Она хранила эти тайны, открытые Бенуа, и мечтала сделать их всеобщим достоянием.

Особенно поразили её изображения зверей на барельефах древнего Вавилона. Если лица людей ничего не выражали и были неприступны и холодны — такие лица она встречала и в жизни, — то у животных читались и ярость, и страдания, и предсмертные судороги. Она читала очень медленно, делала записи в своей тетради и радовалась. Перед ней ещё три тома, а значит, радости и работы хватит, чтобы заглушить боль от разлуки, которая жила и никуда не уходила.

В музее были книги из библиотеки Паниных-Мещерских. Жаль, что большая часть библиотеки сгорела во время пожара, но не пострадало шестьсот экземпляров. Большая часть была перевезена в Смоленск. О владельце первого хозяина усадьбы, Никите Ивановиче Панине, было известно очень мало, имение это подарила ему

Екатерина II. От него остались книги с суперэкслибрисом в ярко-красном сафьяновом переплёте и золотом обрезе. Это было немыслимое богатство, такие книги издавались для библиотеки государя и лиц, к нему приближённых. Знала ли девочка Фрося из деревни Кожаново, читающая газету дедушке Митричу, что будет держать в руках такие книги? И не поверила бы никогда.

Но Никаноровна ни о чём не спрашивала, лишь грустно качала головой.

— Исхудала ты, Васильевна, давай блинков с вареньем вишнёвым.

Они пили чай, и Никаноровна слушала длинные рассказы про Ленинград, про Эрмитаж. Про любовь свою не рассказывала, но Никаноровна вдруг спросила:

— Любишь его?

Фрося замолчала, а потом промолвила:

— Люблю.

Шёпотом промолвила и расплакалась. Никаноровна прижала её к себе, гладила по голове и шептала:

— Поплачь, милая, полезно выплакать-то любовь свою неразделённую, иначе запечётся сухарём горелым под грудями, будешь ты словно солдафон по жизни маршировать. Плачь, плачь, детка. Бабская доля наша от нелюбви плакать и от любви плакать...

— И он меня любит, наверное.

— Как так? Чего ж плакать?

— Не пишет.

— Да про это вся Сычёвка знает. Почтальонка рассказала, что музейщице кавалер из Ленинграда писем не шлёт.

— Так и сказала — кавалер?

— Ну а как?

— Да никакой он не кавалер. Слово какое противное.

— Кто ж тогда не пишет?

— Иван Платонович не пишет.

— Не поняла я, Фросенька, чего ж так убиваешься? Похудела, высохла совсем. Из какого-то Ивана Платоновича? Будь он неладен!

— Да что вы, Никаноровна! Вы не знаете его, он такой...

Фрося поняла, что сказать ей нечего.

— Не знаю, верно, знаю, что негожего ты не полюбишь. Только он птица высокого полёта, куда ему к нам? Тебе нужно было оставаться и воевать за него.

— Как воевать?

— А так воевать. Это только глупые думают, что мужик выбирает и завоёвывает. Всё это сначала у бабы в мыслях. Хочу от него детей или нет? Вот такая примерка. Если хочу, так и будет мой. И будет думать, что он меня выбрал и завоевал.

— Я не думала об этом, о детях не думала.

— А пора уже. Годочки-то тикают, как часики, спешат, век наш бабий короток. Вот к тебе заходит часто доктор наш Павел Александрович.

— Так он по делу. Коллекция ему интересна, альбомы Паниных с гербариями. Рассматривает, изучает.

— Не смеши мои лапти. Они от смеха дырявые да худые. Любит он тебя.

— Да что ты, Никаноровна? У него нос, как птичий клюв, да брюки про утюг забыли.

— Не знаю, какой нос у твоего Платоновича, видно, аккуратист он, каких свет не видывал, только не это главное, — Фрося вспомнила про оторванную пуговицу, улыбнулась. — Вот-вот, не улыбайся, а подумай. Жоних он всем на зависть. Приуныл, когда про письма-то узнал, надежду потерял. А ты его успокой, пригласи чайку попить, скажи, новый гербарь нашла.

— Гербарий.

— Одна беда. Гербарий.

— Не хочу я чай с ним пить. Зачем? Надежду давать?

— Ну, как знаешь. В девках засидишься, потом вообще никто не позовёт. Ладно я, старуха, одна свой век коротаю, мне положено. А ты ещё молодка...

Вскоре Фросе дали квартиру, две комнатки, как директору музея. Никаноровна идти с ней отказалась, больно уж далёко от музея. Это далёко — всего двадцать минут пешком, но ноги у Никаноровны стали сдавать, и она так и осталась в каморке. Штат расширили, появились новые сотрудники — две девчонки, Анечка и Женютка, после двухгодичных педагогических курсов, и семья — муж и жена, приехавшие в глубинку из Воронежа. Почему уехали от сытого чернозёма, никто и не спрашивал. Поселились они во второй половине домика по соседству с Евфросиньей, разбили огородик, посадили подсолнухи вдоль забора. Иван Павлович любил свой огород, грядки у него — под линеечку, лучок зелёный стоит, как на картинке, огурцы плетутся по решётке деревянной, картошечка самая первая. Они взяли шефство над Фросей, и Екатерина

Федоровна предложила столоваться с ними. Фрося обрадовалась, такого борща с пампушками она не пробовала никогда. Иван Павлович и Екатерина Федоровна стали её главными помощниками. Екатерина Федоровна не только хорошо готовила, она неплохо разбиралась в живописи, а Палыч, так его называли, мастером был золотые руки, что было важнее всех образований.

Идея её по организации музейных экспозиций нашла своё воплощение. Она систематизировала коллекцию, в музее установили охрану — тот же Иван Павлович, но это серьёзнее, чем Никаноровна. После Ленинграда всё её хозяйство казалось совсем маленьким, но по Сеньке и шапка. Сычёвка — небольшой городок. Во многих таких городках и вовсе не было никаких музеев. Она посвятила себя работе до донышка, чтобы не оставлять и маленькой мысли о Иване Платоновиче. Другой? «Нет, никому на свете не отдала бы сердца я, то в вышнем суждено совете, то воля Бога — я твоя...» С крестиком не расставалась, шнурок перетёрся, и она поменяла на новый, крепкий, просмоленный, чтоб наверняка.

Одна радость была — письма Елизаветы Павловны. Она писала исправно красивым каллиграфическим почерком. Как-то Фрося в письме спросила осторожно, нет ли у Елизаветы Павловны возможности узнать про Ивана Платоновича. Ответа долго не было, а потом она написала, что Иван Платонович уехал и больше в Эрмитаже не работает. Уехал? Как? Куда? Но расспрашивать было бессмысленно, Фрося и так всё поняла.

Елизавета Павловна болела, приехать в Сычёвку отказывалась, по-прежнему берегла свою комнату и библиотеку. Она приглашала Фросю в Ленинград, и Фрося уже почти собралась и ждала отпуск, но в жизни её опять наступили перемены. Музей их стал образцово-показательным, и все гости города обязательно посещали его залы, оставляли благодарственные письма и фотографии. Её заметили, и через несколько лет перевели в Смоленск.